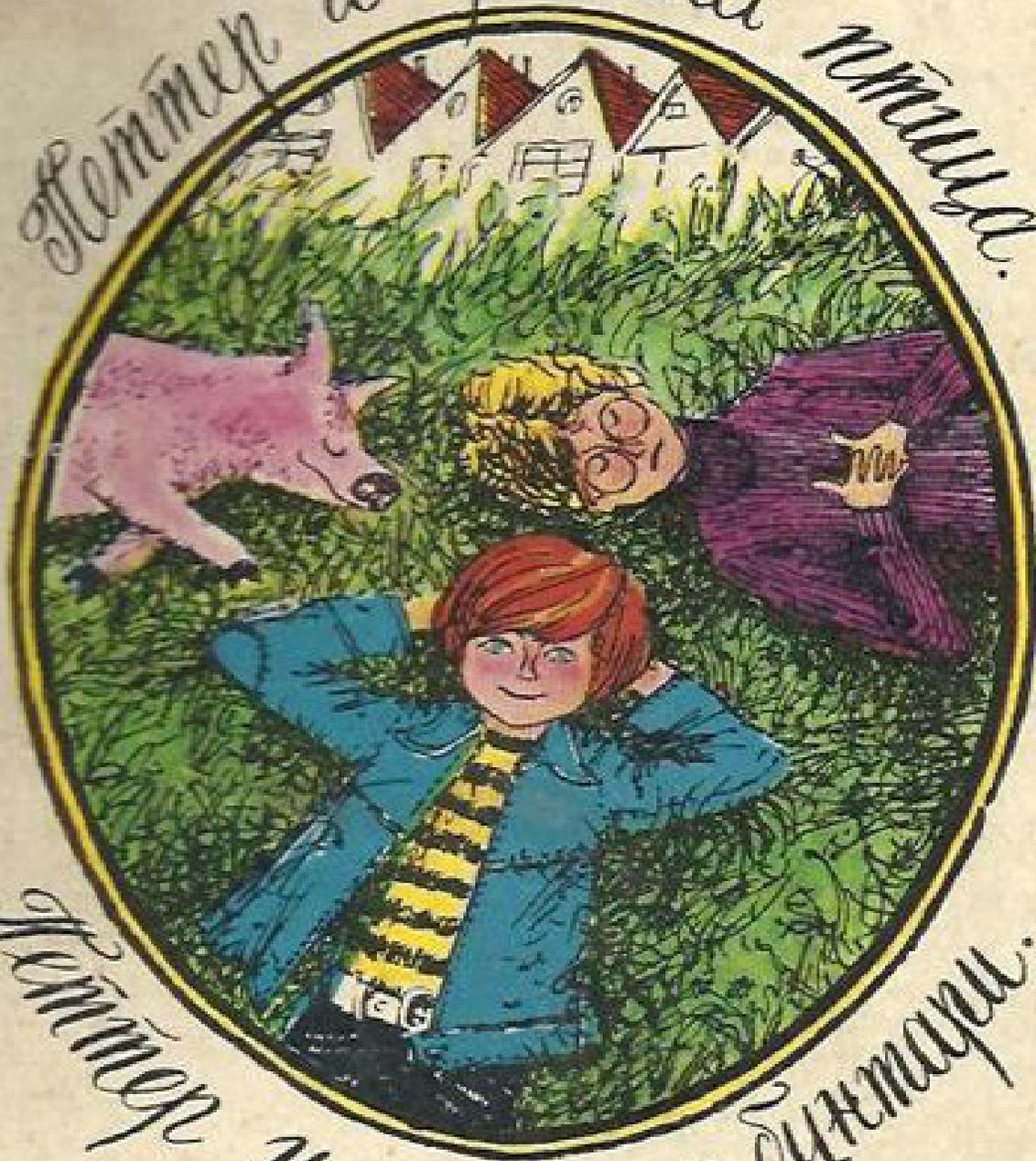


УЛЬФ СТАРКЕ

Леттер и красная
титушка.



Леттер и поросята-бунтари.

①

Annotation

Весёлая и остросоциальная повесть о десятилетнем Петтере из рабочей семьи, живущей в фабричном посёлке современной Швеции.

- [Петтер и красная птица](#)

-
- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

Петтер и красная птица



— А ну, вставай, соня несчастный!
Это был Оскар.

Он стоял в дверях. А я разглядывал его в подводный бинокль — будто толстая рыбина с кустистыми бровями плавает на дне озера, где-то далеко-далеко. Это был отличный подводный бинокль, просмоленный по всем швам, а с обоих концов вмазано оконное стекло. На одной стороне я вырезал своё имя: *Петтер Птицинг*. Этот бинокль мы смастерили со Стаффаном ещё прошлым летом. Оскар тогда обещал взять нас с собой на рыбалку. Но из этого так ничего и не вышло. Всё время что-нибудь мешало. Пока про рыбалку вообще не забыли. А бинокль вот остался. Мы со Стаффаном испробовали его в ванной, чтоб проверить, как он увеличивает.

Чтобы было больше похоже на правду, мы напустили в ванну головастиков, которые быстро-быстро рывками сновали а воде. Потом нам было уже жалко их переселять. Видно было, что им очень хорошо в такой воде. Откуда мы могли знать, что Ева вдруг ни с того ни с сего придёт купаться и увидит их — шевелящуюся массу чёрненьких малявок. Стаффан был уверен, что в комнатной воде головастики чуть не сразу превратятся во взрослых лягушек. Так это или нет, нам но удалось узнать. Ева заставила нас немедленно убрать головастиков. Но всё это было уже давно. А с рыбалкой тем летом так ничего и не получилось.

— Давай пошевеливайся! А то я на работу опоздаю. — сказал Оскар.

Я повернул бинокль широким отверстием к себе. Теперь в стекле умещалось только лицо Оскара. Всё лицо у него было в белых хлопьях от крема для бритья.

Надо, наверно, объяснить вам, что Оскар — это мой папа. Он в общем-то очень даже неплохой, когда не злится и не дёргается. А это с ним часто бывает. Особенно по утрам, когда ему надо на работу. И по вечерам, когда он усталый, потому что работал. В то утро он был такой вот дёрганный.

Я перевёл бинокль так, чтобы видно было Лотту. Она уже оделась. Лотта — это моя сестра. Ей только шесть лет, но она не глупее любого десятилетнего, это я прямо говорю, хотя мне самому десять. Я правда так считаю. И на личико она хорошенькая, с этими своими длинными каштановыми волосами. Сам-то я никакой не красивый. Про меня такого не скажешь.

В то утро настроение у меня было ужасное. Неохота было вставать. Я лежал и думал, до чего ж неприятно знать, что ты *должен* вставать — каждое утро, кроме воскресенья и праздников, день за днём, год за годом, до бесконечности, до самой пенсии. Хотя дедушка, я помню, говорил, что когда станешь совсем уж старый, такой вот жутко старый, как он, и попадёшь в дом для престарелых, то приходится вставать чуть ли не среди ночи, а потом всё сидишь, глотаешь таблетки и вспоминаешь свою жизнь, которой теперь пришёл конец. Но дедушка у нас любит преувеличивать, так что не знаю, можно ли этому верить.

В общем, я решил, что и не подумаю вставать, ни за что не встану. Пусть говорят что хотят — я буду лежать.

— Ну-ка, лодырь, поднимайся, — сказала Ева и потянула с меня одеяло.

— Я сегодня не встану! — крикнул я. — И вообще. Кончено с этим дурацким вставанием.

— Что это с тобой? — сказал Оскар. — Ты что, заболел?

— Ещё чего. Но это ж просто обалдеть можно, как подумаешь, что всю жизнь каждое утро надо вставать. А почему бы и не лежать?

— Хватит болтать глупости. Разлѣгся тут, будто султан, а я готовь ему завтрак. Что я тебе, рабыня? Долежишься до того, что опоздаешь в школу.

Но я твёрдо решил не вставать. А я могу быть и очень упрямым, если что решил. Я тогда прямо чувствую, как где-то внутри у меня сидит воля, такой горячий, живой комок. Иногда такое чувство, будто это она мной распоряжается. Я сам вроде бы уже и сдался, а она всё равно не сдаётся.

— Я всё равно не встану! — сказал я. — Я решил лежать теперь до конца своей жизни.

— К чёрту, Петтер. Придётся тебе поднатужиться. У меня нет времени обсуждать твою жизнь. Через пятнадцать минут мне надо выходить.

— А я-то тут при чём? Сказал — не встану, и точка. Это решено.

— Только не мной. Живо вставай, чучело гороховое! — Оскар разозлился, и его можно было понять. Он нервничал, и спешил, и чувствовал своё бессилие, но я тоже был бессилён. Я был в руках у какой-то силы внутри меня, которая приказывала мне ни за что на свете не вставать. Если честно, мне даже хотелось послушаться Оскара, но я просто не мог.

— Я не собираюсь вставать, — сказал я. — Никогда в жизни. Ты можешь делать, что хочешь, — ничего не поможет. Можешь ругаться, орать, щекотать меня, юли колоть меня булавками, или трахнуть какой-нибудь доской, или поставить мне на живот горячий утюг, или вылить на меня ведро воды. Я всё равно буду лежать.

— А правда, Оскар, — сказала Лотта. — Поставь-ка ему на живот горячий утюг, а я буду щекотать его под мышками.

И она состроила одну из своих страшных рож. Надо вам сказать, что Лотта — большой специалист по рожам. Я не знаю никого, кто умел бы строить такие рожи, как она.

Я весь сжался. Оскар делается иногда просто бешеный. Лицо у него тогда становится всё красное, а сам он из обыкновенного человека превращается в какого-то великана. А глаза как щёлки. Посмотришь на него — и то страшно.

Поэтому я зажмурился. Я постарался представить себе, что я — камень, острый, твёрдый, холодный камень, только попробуй поддать его ногой — сразу поранишься. Такой тяжёлый, серый камень, который тысячи лет пролежал на одном месте и еще тысячи лет пролежит, пока не настанет конец света.

Но никакой конец света не настал. Оскар просто расхохотался. Будто случилось небольшое землетрясение. Живот у него трясся, а на глазах выступили слёзы. Весь дом гремел от хохота.

Раньше это у нас часто бывало. Оскар так хохотал, что стены дрожали.

Ева, наша с Лоттой мама, от которой я унаследовал свои рыжие волосы, рассказывала, что когда они с Оскаром только поженились и жили в крохотной квартирке, она использовала в таких случаях подушки вместо звукоизоляции, чтобы растревоженные соседи не стали стучать в стенку.

Хохот Оскара — это было что-то нечеловеческое, какая-то разбушевавшаяся стихия. Будто вулкан. Только вот теперь вулкан этот почти потух. Иногда только что-то там ещё булькало и вспыхивало.

— Ладно! — сказал Оскар, и в горле у него что-то всхлипнуло. — Лежи себе, бездельник, пока не покроешься паутиной и пылью. Когда-нибудь, глядишь, и надоест. Между прочим, если тебя очень уж долго не будет в школе, за тобой просто придут и заберут тебя.

— Пусть попробуют, — сказал я так твёрдо, как только мог.

Перед тем как им с Лоттой уйти, Оскар принёс два банана и положил около моей кровати.

— Сухой паёк для живой мумии, — сказал он.

Нет, честно, я чувствовал, что мне не надоест, никогда не надоест.

Хоть всю жизнь пролежал бы вот так в постели. Я попробовал совсем отключиться, попробовал заставить себя ничего не слышать, ни про что не думать. Просто лежать — неподвижно, молча, как серый камень.

Вот только странное дело. Нельзя заставить себя ни про что не думать, не получается. В голове вдруг сами собой выскакивают разные мысли и картины. Всякие там бессмысленные слова вроде «чучело гороховое», или какие-то дурацкие, непонятные картинки. Попробуйте-ка сами ни про что не думать. Всё равно будешь думать хотя бы про то, что не надо ни про что думать.

Прошло часа два, а мне уже казалось, что я пролежал лет сто. Моя сжатая в кулак воля куда-то улетучилась, вроде как растворилась в солнечном свете, который вошёл через окно. Мне что-то совсем расхотелось лежать вот так в постели до конца своей жизни.

В школу идти всё равно уже не имело никакого смысла. Я встал, потом выпил чашку молока с бутербродом и взял ещё кусок шоколадного пудинга, который стоял в холодильнике. Я подумал, что лечь-то я всегда успею, лягу обратно ещё до их прихода и сделаю вид, будто и не вставал.

Мы жили на самой вершине холма, в маленьком коричневом домике, точно таком, как и все другие вокруг. Эти маленькие домишки с тесными комнатками были построены той самой фабрикой, на которой работали Оскар с Евой. Там же работали чуть не все жители нашего Дальбу.

У некоторых, правда, дома были побольше и кирпичные. Это у всяких там служащих, которые уже и приказывать что-то могли, и денег получали больше, и лужайки у них перед домом были пошире.

На нашей улице было почти что пусто.

Я спускался вниз, где начинался сам посёлок, а за ним торчала труба фабрики, выше церковной колокольни. Фабрика была новенькая и вся небесно-голубая, и стояла она на берегу Голубого озера, которое тоже было голубое-преголубое. И всё это голубое сияло и сверкало на солнце под голубым небом. На этой самой голубенькой фабрике все наши местные и пристроились.

Хотя, конечно, не все. Некоторые работали в магазинах, некоторые ещё где-нибудь, а некоторые были вообще без работы. Я подумал, а не заглянуть ли мне в гости к тёте Кристин? У тёти Кристин была маленькая прачечная, и Оскар с Евой оставляли у неё на день нашу Лотту, пока сами были на работе. Когда я ещё не учился в школе, меня тоже отводили к ней. Отличная она была тётка, наша Кристин-Стирка, такая маленькая, тощая, с виду хмурая, неприветливая, а на самом деле очень добрая. Но я решил, что лучше уж не ходить — а то Лотта обязательно проболтается, что я вставал.

Потом я увидел жёлтую кирпичную колоду нашей школы. Была как раз перемена, и ребята носились по двору. Прозвенел звонок, и все они столпились у дверей. Школьный звонок — всё равно что фабричный гудок: он приказывает тебе приходить или уходить, решает, когда тебе гулять, а когда работать. До чего же здорово, что мне не надо было мчаться в класс.

Сам посёлок лежал в долине, между двумя холмами, с одной стороны Голубое озеро, а вокруг леса и луга. На одном холме были наши домики, а на самой вершине другого красовалась вилла директора фабрики

господина Голубого. Настоящая его фамилия была Вальквист, но его прозвали Голубой, потому что всё у него было голубое — и фабрика голубая, и вилла тоже вся голубая. Это был огромный деревянный домик со всякой там резьбой, завитушками-финтифлюшками. В саду вокруг виллы полно было всяких кустов, лужаек и фруктовых деревьев. А ещё там был бассейн с золотыми рыбками. А вокруг сада был высоченный деревянный забор, тоже голубой.

Я подумал, подумал и решил пойти в гости к Бродяге. Бродяга жил в малюсеньком домике, вроде лесной избушки, который когда-то был выкрашен в красный цвет, как красят дачи, но потом весь облупился и стал совсем бесцветный. Бродяга на самом-то деле был никакой но бродяга. Просто его так прозвали за старую шляпу с широкими обвислыми полями и за длинную чёрно-седую бороду. Он работал раньше на фабрике, но ему Пришлось уйти, потому что он заболел. На складе ему как-то Пришлось взвалить себе на спину такой ящик, что спина чуть не треснула. Но главное, наверное, из-за того, что он всегда прямо говорил то, что думал, и жаловался, если что-нибудь на фабрике было плохо.

До домика Бродяги надо было пройти кусок лесом. Туда вела лесная дорожка. Солнце жарко светило сквозь сосны. Наверху щебетали птицы. Потом лес вдруг расступался, и открывалась поляна. Там и стояла избушка Бродяги, с сарайчиком для дров и одной яблоней перед крыльцом. А за углом цвела сирень, и пахло сладко-сладко. Дверь была закрыта. И тихо совсем. Только слышно было, как журчит ручей, который протекал прямо рядышком.

Я постучал, но никто не отозвался. Я, правда, и не удивился. Во-первых, Бродяга считал, что входить можно и без стука. А во-вторых, он немножко оглох, проработав столько лет на фабрике Голубого.

Когда я вошёл, я после яркого солнечного света вообще ничего не увидел. Я будто ослеп.

В доме было две комнаты, в одной, побольше, — печка с плитой, раскладной стол и несколько стульев, а в другой, маленькой, стояла кровать Бродяги.

Я услышал, что он там. Он не окликнул меня, как обычно, нет. Он не насвистывал бодро-весело, как он частенько насвистывал. Он не пел своим раскатистым басом, как он иногда пел. Он не ругался, как он вечно ругался, когда надо и когда не надо. Он не бормотал себе под нос, не мурлыкал и не ворчал, как бывало, когда он вырезал какую-нибудь фигурку из дерева.

Он скулил, тихонечко, не переставая скулил, как больной ребёнок или зверёныш, и я понял, что ему ужасно больно. Я вошёл в комнату и увидел его на кровати. Волосы у него все спутались, слиплись от пота, а лицо было совсем серое. Глаза странно блестели. Он держался руками за живот. Лежал скорчившись на боку, подтянув колени. Над ним жужжали мухи. А рядом стояло жёлтое эмалированное ведро — его, видно, рвало.

— Что такое? — спросил я как дурак. Я просто не знал, что сказать.

Так странно было, что он такой жалкий, беспомощный. Он всегда был такой здоровый, весёлый, такой выдумщик и шутник. Я не знал, что делать, что сказать.

Он попытался повернуть голову, но она у него снова упала на подушку, и он опять застонал, уже громче. Он хотел что-то сказать, но не смог. Он боролся с какой-то жестокой и непонятной мне болью. С лица у него прямо капал пот, и простыня была мокрая.

Я пошёл на кухню, намочил под краном полотенце, вытер ему лицо и положил полотенце на лоб. Он слабо улыбнулся, будто хотел сказать «спасибо». Я принёс

стакан воды. Подсунул руку ему под голову, приподнял и поднёс стакан к его губам.

Но он не мог ничего проглотить. Вода стекала по подбородку.

— Спасибо, — сказал он так тихо, что я еле услышал.

Потом ему, наверно, опять стало хуже. Он вскрикнул и перекатился на спину. Глаза у него широко раскрылись, он весь дрожал. Потом совсем затих. Может, он умер?

Нет, я слышал, как он дышит, тяжело, прямо задыхается.

Я не знал, что делать. Не мог же я взять и бросить его тут, а сам пойти домой и снова улечься в свою кровать. Я отвечал за него, потому что это я на него наткнулся. Он всегда был очень добрым ко мне. Когда мне бывало плохо или я злился на что-нибудь, я шёл к нему. И мне всегда становилось легче.

Обязательно надо было ему помочь. Вот только как? Надо было как-то сделать, чтоб его забрали в больницу.

Я выскочил из дома и мимо сарая, мимо свинарника выбежал на дорогу и помчался изо всех сил. Я мчался по узкой лесной дороге с такой скоростью, что чуть не задохнулся, пришлось даже притормозить. Я, по-моему, в жизни ещё так не бегал. Во рту был солоноватый привкус, будто кровь, — так всегда бывает, когда бежишь изо всех сил.

Сразу за лесом была маленькая молочная, где работала тётя Лесбор и где мы всегда покупали домашние булочки. Я вбегаю туда и вижу — она стоит разговаривает с каким-то покупателем.

— Здравствуй, сказала она. — Чего ты носишься как угорелый?

И она продолжала болтать со своим покупателем — какая сегодня погода, да какой ветер, да у кого что болит. Я попытался объяснить, что Бродяга лежит там у

себя больной, может, уже при смерти. Но я только начал, как она прервала меня и сказала:

— Подожди, пока до тебя дойдёт очередь, и вообще дети не должны перебивать старших. — При этом она нахмурила брови и сделала строгое лицо.

Мне казалось, этому конца не будет, и я просто не знал, что делать. Наконец я не выдержал.

— Нет, ты должна меня выслушать, — сказал я. — Помолчите, пожалуйста! Бродяга умирает!

— Какой такой бродяга? — спросила тётя Лесбор.

— Разве здесь в окрестностях есть бродяги? — удивился покупатель и вытаращил глаза.

— Да Бродяга же! Вы что, не понимаете? Бродяга! Лейф, который живёт тут рядом, в лесу.

— Ах, этот, — сказала тётя Лесбор.

— Да, этот самый. Он заболел. Он лежит сейчас там без сознания. Я пришёл к нему в гости, а он, оказывается, заболел. Он даже говорить не может, его всего трясет. Есть здесь где-нибудь телефон? Надо вызвать «скорую».

— О, господи, детка, чего же ты молчал? Конечно, надо вызвать «скорую». Немедленно!

Она скрылась за занавеской, которая висела перед входом в самую лавку, и я слышал, как она там набирает номер и никак, видно, не может набрать. Она так нервничала, что два раза попадала не туда. Первый раз она попала на бойню, и там решили, что она шутит, когда она сказала, что в одной избушке в лесу умирает человек. Наконец, она всё же дозвонилась до «скорой» и объяснила, где и как найти больного.

— Они сейчас же выедут, — сказала она мне. Её круглые щёки были красные, как помидоры.

Я видел, что ей не терпится расспросить меня про Бродягу и что с ним стряслось.

— Успокойся, детка, успокойся, — затараторила она. — Представляю, как ты перенервничал. Садись-ка

вот сюда, я сейчас угощу тебя булочкой.

— Да нет, я побежал. Дождусь, пока приедет «скорая», — сказал я и выскочил за дверь.

Когда я бежал обратно, я уже не так волновался. Бродяга по-прежнему лежал как неживой. И лицо у него было совсем уже серое. Я опять вытер ему лицо мокрым полотенцем.

— Сейчас приедет «скорая», — сказал я.

Но он, по-моему, даже не услышал.

Пока они приехали, прошло, наверное, полчаса, не меньше. Я услышал сирену задолго до того, как они подъехали. Наверное, трудно было проехать по узкой лесной дороге, по корням. Сирена выла всё время, хотя непонятно, кого тут надо было предупредить, кроме птиц или зайцев.

Как раз перед тем, как вошли санитары с носилками, Бродяга открыл глаза. Он протянул ко мне руку, и я дал ему свою. Рука у него была такая огромная, что моя уместилась в ней целиком. И горячая, как раскалённая плита. Он сжал мою руку, будто хотел сказать, что он меня узнаёт, и хорошо, что я рядом.

Тут вошли санитары и переложили его на носилки. Он за-стонал, хотя они перекидывали очень осторожно. И он не отпускал мою руку.

Когда носилки уже поднесли к машине, он обернулся ко мне.

— Уж ты, Петтер, позаботься тут пока о поросёнке, — выдавил он из себя каким-то тоненьким голосом.

— Ладно. Я тебе обещаю, — сказал я.

Дверцы захлопнулись, и машина отъехала. Она ехала очень медленно, переваливаясь по кочкам и ухабам, пока не исчезла за поворотом.

Вокруг было тихо-тихо. Только слышно было, как похрюкивает у себя в закутке поросёнок.

Так вот он и навязался на мою голову, этот самый поросенок — и как раз в тот день, когда я собирался залечь и уже не вставать до конца своей жизни.

Оскар не особенно удивился, что я встал.

— Жизнь полна неожиданностей, — сказал он.

Жизнь-то вообще, может, и полна, но только не их с Евой жизнь. Каждое утро они встают в одно и то же время, идут на работу, делают там всё одно и то же, потом приходят домой, поделают ещё что-то дома, поговорят, посмотрят телевизор и ложатся спать. И так же, наверное, и все другие, кто живёт в наших домах.

Я слышал, иногда вечером они говорили про эту свою работу и до чего она им надоела. И можно было так понять, что делать им там почему-то приходится всё больше, а денег почему-то платят не больше.

— Нет уж, к чёрту, скоро с этой эксплуатацией будет по-кончено! — сказал как-то Оскар.

Но сказал так, будто сам в это не верил.

— Свинская жизнь! — сказал он.

Зато у поросёнка Бродяги жизнь была совсем даже не свинская. Я нянчился с ним, как с ребёнком. Когда я после школы шёл его кормить, за мной часто увязывался Стаффан. Со Стаффаном было интересно, он вечно что-то придумывал. В один прекрасный день мы окрестили поросёнка Последним-из-Могикан — в честь героя романа Фенимора Купера. Мы, как положено, окропили его водичкой.

— Нарекать тебя Последним-из-Могикан! — провозгласили мы громко и торжественно.

Последний-из-Могикан и ухом не повёл.

...Один раз, по дороге из школы, Стаффану пришло вдруг в голову, что ведь Последнему-из-Могикан,

наверное, не очень-то приятно торчать там одному в лесу в своей клетушке. Может, он боится темноты, может, ему там страшно по ночам, когда только луна светит своим мёртвым светом, и филины ухают, и призраками носятся летучие мыши. Нот, нельзя оставлять его совсем одного в тёмном лесу. Это, считал Стаффан, просто варварство по отношению к животному.

Мы решили, что надо переселить Последнего-из-Могикан к нам домой.

И мы отправились за поросёнком, чтобы переселить его из леса на обитаемые земли и обеспечить ему нормальные жилищные условия, с отоплением и всеми удобствами. Мы подманили его лакомствами и надели ему на шею верёвку, завязав на несколько узлов. Он аппетитно чавкал, глядел на нас и ничего не понимал.

Потом мы открыли загон и стали изо всех сил тянуть за верёвку. Последний-из-Могикан упирался, но всё-таки пошёл за нами. По дороге он то останавливался и начинал рыть пяточком землю, то вообще тянул нас куда-то в сторону. Пока мы его тащили, мы прямо все вспотели.

— Последний Могиканин, он жив себе здоров, висит он на лиане и лопает морковь! — орали мы со Стаффаном, волоча его за собой, как на буксире.

Но как только мы выбрались из леса, дело пошло веселее. Мы двигались гуськом. Небольшая такая процессия: впереди Стаффан, за ним я, за мной Последний-из-Могикан. Когда мы на тротуаре прошагали мимо какой-то тёти, она чуть не плюхнулась в сточную канаву и так и осталась стоять с разинутым ртом.

Когда мы уже поднимались к нашему дому, нам встретился дядя Янссон, он был близорукий и носил очки с толстенными стёклами и всегда ходил в шляпе.

— Добрый день, дети, — сказал он. — Собачку выгуливаете? — Он поглядел, прищурившись, на Последнего-из-Могикан, и брови у него полезли кверху. Последний-из-Могикан сидел посреди улицы и не желал трогаться с места.

Дядя Янссон уставился на него.

— Что же это, интересно, за порода такая? — спросил он.

— Бультерьер, сами видите, — небрежно сказал Стаффан.

Он разбирался в породах собак, потому что отец у него был судья на выставках собак.

— Совершенно необычная внешность, — сказал дядя Янссон.

— Редкая в Швеции порода, — сказал Стаффан. — Раньше они использовались при охоте на бизонов.

Тут Последний-из-Могикан вдруг рванул и понёлся галопом, мы еле поспевали за ним. Дядя Янссон остался позади. Мы мчались вприпрыжку и затормозили точно у калитки нашего дома.

— Вот видишь, он уже знает свой дом, — сказал я.

— Конечно. Само собой, — сказал Стаффан. — Свинья, если хочешь знать, самое умное животное на свете. Если не считать черепаху.

Мы протолкнули Последнего-из-Могикан через калитку и довели по дорожке до крыльца. А вот взбираться по лестницам свиньи, оказывается, совсем не способны. Но в конце концов мы всё-таки втащили поросёнка на крыльцо, а оттуда в переднюю.

Там мы его крепко-накрепко привязали к вешалке для шляп.

— Поздравляю с новосельем! — сказал я. — Чувствуйте себя как дома.

Он, наверное, и правда почувствовал себя как дома, потому что первым делом нагадил прямо на пол.

— Не мог уж сделать свои дела на улице, — сказал я. Надо же, какой он оказался некультурный.

— Ничего, потом подотрём, — сказал Стаффан. — Постепенно он приучится соблюдать чистоту в жалом помещении. А теперь давай устроим ему постель.

Мы решили, что пока Бродяга в больнице, Последний-из-Могикан будет жить в нашей с Лоттой комнате. Мы освободили большую бельевую корзину, где Лотта держала своих кукол, и положили туда вместо одеяла купальный халат Оскара — по совету Стаффана.

— Свины, в отличие от собак, не линяют, — сказал он. — Так что за халат можно не беспокоиться.

Такое разъяснение специалиста меня успокоило. Да я и сам видел, что волос у Последнего-из-Могикан почти что и нету.

Ещё мы поставили около корзины глубокую тарелку с водой.

— Ну вот, теперь он заживёт, как король, — сказал Стаффан и принялся насвистывать какой-то бодрый мотивчик.

Вроде бы всё было сделано. А что дальше? Спать ложиться ему было ещё рано, а кормить мы его уже кормили.

— Наверное, ему не мешало бы выкупаться, — неуверенно предложил я. Я боялся, что Еве он может показаться довольно-таки грязным, если даже про нас ей казалось, что мы должны мыться и утром, и вечером. А Последний-из-Могикан был весь в земле, и пахло от него, если уж честно, не очень приятно.

— Отличная мысль, — сказал Стаффан. — Неумытого поросёнка невозможно держать в доме, среди приличной мебели.

Мы пустили тёплую воду, наполнили ванну до половины и подлили туда немножко Евиного жидкого

мыла — пены получилось полно. Так и хотелось туда залезть.

Потом мы пошли за Последним-из-Могикан, который уже умудрился стрясти с вешалки все шляпы и шапки и улёгся на любимой кепке Оскара.

Затащить его в ванную комнату было непросто, а уж запихнуть в воду — прямо-таки невозможно. Уж не знаю, как нам удалось его затолкать — он плюхнулся и встал на ноги.

Сначала он стоял смиренно — наверно, от удивления, что очутился вдруг весь целиком в тёплой воде. Мы взяли щётку и начали скрести его жесткую щетину. Стаффан весело распевал. Наверно, на пяточок поросёнку попала пена, потому что он принялся вдруг так чихать, что всё вокруг забрызгал пеной.

— Когда чихаешь, надо прикрывать рот, — сделал ему замечание Стаффан.

С мытьём всё сошло отлично Мы вынули затычку и подождали, пока стечёт вода.

— А теперь его надо под холодный душ, чтоб не замёрз, когда выйдет, — решительно постановил Стаффан.

Я взял шланг, открыл холодную воду и начал поливать разомлевшего поросёнка. Он завизжал, будто его режут. А дальше его уже невозможно было удержать.

Уперевшись задними ногами в коврик на дне ванной, он стал карабкаться, перевесился через край и шлёпнулся, будто скользкий тюлень, на пол, кое-как поднялся на ноги, наконец оттолкнулся, с грохотом вылетел в дверь и помчался в комнаты, всё время визжа как резаный.

Он на хорошей скорости влетел в гостиную и начал там метаться, точно ошпаренный, хотя никто его не ошпаривал, а, наоборот, освежили. Он метался среди мебели, натолкнулся на журнальный столик, где стояла

ваза с цветами, ваза грохнулась прямо ему на голову и разбилась. Тут уж он совсем взбесился.

— Во даёт! Во бешеный! — орал в восторге Стаффан.

Ну, а я не очень-то радовался. Я уже подумал, а не зря ли мы вообще притащили с собой домой поросёнка. Может, Стаффан преувеличивал способности свиней, и они вовсе не так уж хорошо поддаются дрессировке? Он мне расписывал, как можно выдрессировать поросёнка, чтобы он по команде садился, подавал «лапку», вертел хвостиком и вообще проделывал всякие удивительные номера. Что-то непохоже было, чтоб Последний-из-Могикан хорошо поддавался дрессировке.

С цветочным венком на голове Последний-из-Могикан продолжал свою бешеную скачку по квартире и производил везде дикий разгром: переворачивал стулья, сбивал в кучу ковры спотыкался о ножки столов и визжал не прекращая, так что слышно было, наверное, во всём посёлке.

Пока мы возились с нашим поросёнком, прошло, оказывается, очень много времени.

Вдруг дверь открылась. И появились Оскар, Ева и Лотта.

— Что за чертовщина! — сказал Оскар.

Он шагнул и угодил в то самое, что оставил на полу Последний-из-Могикан. Все трое будто онемели: стояли с открытыми ртами и смотрели. Какая-то явно взбесившаяся свинья творила погром в их собственном доме.

— Петтер! — рявкнул на конец Оскар.

Но тут Последний-из-Могикан заметил лазейку. Он взял старт и рванулся к приоткрытым дверям. Он отпихнул Оскара, которому трудно было сохранить равновесие там, где он стоял, стрелой проскочил в дверь и с грохотом скатился с крыльца.

В общем, Последний-из-Могикан удрал.

— Лови, держи! — заорал Стаффан. — Держи преступника! И мы бросились за ним. Нельзя же было, чтоб поросёнок Бродяги сбежал.

Вечер был тёплый-тёплый, и пахло сиренью. Ещё светило ласковое, нежаркое солнышко. Прекрасный был вечер. Вниз по улице нёсся вскачь поросёнок. За ним первым бежал Оскар, и живот у него колыхался, за Оскаром Ева, и рыжая грива её развевалась по ветру, за Евой мы со Стаффаном, и в самом хвосте Лотта.

Последний-из-Могикан мчался прямо к посёлку.

По дороге нам встретился близорукий дядя Янссон. Он, подслеповато щурясь, наблюдал это странное представление.

— Странная всё же собака, — сказал он, когда поросёнок проскакал мимо.

Постепенно к погоне присоединилось много всякого народу. Дети бросали свои игры и с дикими криками мчались за нами. Бежали и взрослые, выкрикивая на ходу всякие советы.

Скоро мы уже были в самом посёлке. Поросёнок мчался на-прямик по главной улице, не обращая никакого внимания на машины и велосипеды. Всё больше народу включалось в эту бешеную погоню за Последним-из-Могикан. Я беспокоился, как бы поросёнок всё же не ушёл от нас. Он мчался с быстротой дикого зверя, и его, конечно, подхлёстывало, что он оказался в центре внимания и что испытывались его быстрота и ловкость. Он был в отличной форме и бежал удивительно легко, а вот мы уже начали задыхаться. Какой-то пожилой дядечка схватился за живот и заявил, что больше не может.

Последний-из-Могикан покружил по посёлку и свернул на улицу, которая шла вверх по склону противоположного холма, и на подъёме он сбавил скорость. Расстояние между Последним-из-Могикан и нами уменьшилось.

Почти уже на самом верху Оскар поднажал, пытаясь догнать поросёнка, и стал кричать всякие там слова, подбадривая остальных. Рванувшись из последних сил вперёд, он настиг Последнего-из-Могикан и бросился на него всем телом. Но поросёнок вывернулся у него из-под рук и шмыгнул в приоткрытую калитку, которая вела в сад к Голубому.

Сад у Голубого был не просто сад, а чудо садового искусства, приглаженная и прилизанная идиллия: аккуратные, подстриженные под кубики кустики, стеклянные шары и фонтанчики, лужайки, выстриженные не хуже, чем собственный затылок Голубого, гладкий, как зеркало, бассейн с золотыми рыбками, в котором сейчас красиво отражались золотистые закатные облака, всякие там диковинные насаждения и пышные цветники.

И вот в этот искусственный рай ворвался Последний-из-Могикан, не имевший никакого понятия о всяких там мирных наслаждениях на лоне искусственной природы. За ним, уже не так смело, протиснулась и вся наша охотничья процессия.

Голубой пил на террасе с приятелями кофе. Он обалдело смотрел на это нашествие незваных гостей. Последний-из-Могикан носился между кустами и вытапывал клумбы. Огромный чёрный датский дог Голубого увидел поросёнка и с лаем кинулся к нему, а тот принялся удирать, вломился в заросли рододендрона, проскакал через лужайку, с разбега нечаянно плюхнулся в бассейн к золотым рыбкам, побарахтался там, кое-как выбрался и помчался дальше по саду.

Мы попытались окружить Последнего-из-Могикан. Голубой тоже принял участие в облаве. Задумав вырваться из окружения, поросёнок нацелился на его светлый фланелевый костюм.

Голубой пригнулся, широко расставив ноги и растопырив руки, но поросёнок углядел отверстие между его ногами и мигом проскочил в эту брешь.

Был момент, когда Голубой очутился верхом на поросёнке, только задом наперёд.

— Молодец! Держись крепче! — заорал Оскар, но Голубой уже приземлился на какую-то там свою японскую диковину.

— Это нарушение неприкосновенности жилища! — завопил Голубой. — Зовите полицию!

Но Последний-из-Могикан уже выдохся.

Он остановился у карликовой сосны и совершенно невозмутимо стал делать свои дела.

Оскар подошёл к нему, что-то ласково приговаривая. Последний-из-Могикан стоял смирно, пока Оскар пристёгивал ему на шею свой брючный ремень.

— Хватит на сегодня хулиганить, — сказал он.

Все засмеялись и захлопали в ладоши.

Не радовался один только Голубой. Он даже посинел от злости.

— Я буду требовать возмещения убытков! Я подам в суд за нарушение неприкосновенности жилища! — выкрикивал он дрожащим голосом, стараясь отчистить свой костюм от земли. — Варвары!

Охотничий рожок протрубил, что охота закончена. Все стали расходиться по домам, смеялись и обсуждали весёлую охоту. Оскар вёл на ремне поросёнка, который держал себя теперь очень даже воспитанно. Я шёл рядом.

Я думал, мне предстоит хорошая взбучка от Оскара. Зря мы действительно привели Последнего-из-Могикан к нам домой. И Оскар, по-моему, тоже так считал.

— Слушай-ка, — сказал я. — Ты понимаешь...

— Помолчи! — просипел Оскар каким-то сдавленным голосом. Его так и распирало, он надувался прямо на

глазах, как воздушный шар. Он крепко сжал рот, а щёки у него надулись, как у трубача.

Когда мы отошли немного от калитки Голубого, его прорвало.

Оскар хохотал.

Он до того хохотал, что согнулся пополам, а потом сел прямо на землю, в канаву. По щекам у него текли слёзы. Живот у него вздулся, будто под рубашкой сидел кенгурёнок. Он сидел в канаве, закатив глаза к небу, и просто выл от смеха.

И я тоже начал хохотать.

И прохожие останавливались посреди дороги и тоже начинали хохотать.

И всё хохотало вокруг.

Тогда я в последний раз слышал этот хохот. Знаменитый Оскаров хохот.

Поросёнок вернулся теперь на своё место, в свинарник. И Бродяга вернулся к себе. В больнице он пробыл три недели. Я часто его навещал. С каждым разом он всё больше делался похож на себя прежнего. История с поросёнком, по-моему, его развеселила. Он заставил меня повторить её несколько раз. Он, правда, не хохотал, как Оскар, но всё-таки улыбался, когда я рассказывал, как поросёнок ворвался в сад к Голубому.

— И поделом ему, — сказал он. — Что ж, не можешь сам за себя отомстить, так пусть хоть твой поросёнок отомстит.

Я не понял толком, про что это он. Но я понял, что оба они с Оскаром радовались, что не кому-нибудь, а именно Голубому досталось. Поросёнок попал в местную газету. Заголовок был такой: «Свинья в саду директора Вальквиста». Голубой повторял там свои угрозы, что он подаст в суд за нарушение неприкосновенности жилища и потребует возмещения убытков.

— Пусть судится с поросёнком, — сказал Оскар. — Посмотрим, что получится.

Ничего и не получилось. Голубой только выставил себя на посмешище. Но про это потом.

Когда Бродяга вернулся из больницы, он устроил для меня угощение, чтобы отблагодарить за то, что я вызвал «скорую» и что взял шефство над его поросёнком. Он угостил меня тортом, разными соками. А ещё он сделал мне маленького деревянного поросёнка. На подставке было вырезано: «Последний-из-Могикан».

— Это тебе на память о весёлой охоте, — сказал он.

Приближались летние каникулы. Дни стояли жаркие, сияло солнце, и всё вокруг было ярко-зелёное. Даже ночью было тепло. Деревянного поросёнка я поставил к себе на окошко. Сделан он был замечательно. Точь-в-точь Последний-из-Могикан — пяточок вниз, хвостик крючком. Самая моя красивая вещь. И самая любимая.

А дома у нас почему-то стало совсем невесело. Оскар ходил хмурый. Он теперь почти не разговаривал. Молчал как убитый. Часто он просто сидел и смотрел в одну точку. За ужином его иногда вроде как и не было с нами, будто он спал.

С Евой тоже творилось непонятное. Вечно она была усталая, раздражённая, ворчала из-за всяких пустяков и злилась непонятно из-за чего.

Лотта вечером стала плохо засыпать и часто шла к Еве и забиралась к ней в кровать.

Ночью я иногда просыпался и слышал, что Оскар не спит. Слышал, как он ходит на кухне, шаркая шлёпанцами. Один раз я услышал, что он будто плачет, тихо так всхлипывает. У меня у самого комок подступил к горлу. Невозможно было лежать и слушать этот плач.

Я не выдержал, встал и пошёл к нему на кухню. Он сидел, согнувшись над столом, обхватив голову руками. Рядом стояла наполовину пустая бутылка.

— Оскар, ты чего? — спросил я.

Он будто и не слышал.

Но потом он посмотрел на меня покрасневшими от слёз глазами. Он выпрямился и посадил меня к себе на колени.

— Ничего, сынок, ничего, — сказал он.

Но я знал, что это неправда. Может, он не хотел говорить? Может, не мог? Может, и сам не знал?

Оскар на руках отнёс меня в постель и укрыл одеялом. Он долго сидел около меня, а потом тихонько

вышел, когда решил, что я заснул.

Я ломал себе голову и никак не мог понять: в чём же всё-таки дело?

Ведь ничего такого особенного, по-моему, не случилось. И нельзя сказать, чтобы Оскар с Евой стали какие-то другие. Просто у них теперь всегда было паршивое настроение. Будто им всё на свете надоело, осточертело. И всё их только раздражало.

Оскар взрывался из-за всякой ерунды. Если я, например, приводил домой Стаффана или ещё кого из ребят и мы хоть немножко шумели, он мог вдруг заорать как бешеный, чтоб мы сию минуту заткнулись, чтоб убирались на улицу, чем дальше, тем лучше. Ева тоже стала просто невозможная.

Я чувствовал себя ужасно. Как будто это я был во всём виноват. Я тоже стал злой как чёрт. Они на меня орали, и я на них орал. Они хлопали дверьми, и я в ответ хлопал дверьми. Мне осточертела эта их злость. Хотя, может, это и не совсем так. Даже совсем не так. Дело в том, что я в общем-то и правда чувствовал себя кругом виноватым.

Я всё думал, думал, но наконец всё-таки заснул.

Мне приснился странный сон про деревянного поросёнка. Будто поросёнок стоит себе, как всегда, на окошке и вдруг начинает хохотать голосом Оскара. Он всё хохочет, хохочет, а потом хохот становится похож на рыдания, и уже непонятно, смеётся он или плачет, и мне от этого очень страшно. И вдруг я вижу, что поросёнок делается всё меньше, меньше — и совсем пропадает. Вместо него — пустое место. Я проснулся весь в поту, поглядел на окно — поросёнок на месте.

— Прекратишь ты наконец эти свои безобразия?!

Оскар так хлопнул дверь, что стены задрожали. У меня в голове тоже всё задрожало. Кричать, что ли, в закрытую дверь? Разве это разговор? Дверь — как стена, белая стена между двумя, которые раньше нормально разговаривали друг с другом. А теперь слова остаются без ответа.

— Сам кончай это безобразие! — крикнул я в дверь.

Вот так мы теперь и жили. Ну, что я такого сделал? Я читал в постели комиксы. Мне осталось дочитать совсем немножко. Оскар сказал, чтоб я вставал сию же минуту, а я не мог оторваться. Ну и всё. Оскар моментально взбесился. Схватил меня за плечи и начал трясти, как ненормальный. Раньше такого и быть не могло. А теперь сколько угодно.

Я взял у Стаффана целую кучу комиксов. У него их было навалом. Я тогда увлекался комиксами. Читаешь — и про всё забываешь. Существуют только герои комиксов и их приключения, а всё другое остаётся где-то там, за цветными стёклами. А я внутри. Это было здорово — так вот от всего избавиться, удрать. Это ведь тоже способ удрать, правда? Всё равно что заснуть, только приятнее. Там всё было так, как ты мечтал. Вот бы быть таким сильным, решительным, волевым, всегда знать, как тебе поступить, и не мучиться всякими там дурацкими чувствами. И ты жил и действовал вместе с этими героями и забывал, как всё было в настоящей жизни.

А в настоящей жизни я совсем запутался. Ну, что я мог поделывать? Как мне было действовать? Да и неохота вроде действовать. Я только и делал, что переживал. То

злился, то на меня тоска нападала, то мучила какая-то тревога.

Я услышал, как Оскар хлопнул входной дверью. Он ушёл, не позавтракав. Почему-то у меня было такое чувство, что это я виноват, что он даже не стал есть — просто хлопнул дверью и ушёл.

Вошла Ева и села ко мне на кровать.

— Ну, почему ты такой? Неужели ты не можешь не раздражать Оскара? Ты же видишь, как он устал и измучен! Ну, постарайся понять. Неужели нельзя пожалеть его? Вот, пожалуйста: разнервничался и даже не стал завтракать.

Она была на его стороне. Удивляться, наверное, было нечему. Наверное, это я был какой-то не такой. Вот Лотта не доставляла им никаких неприятностей. Лотта была умница. А я был подонок. Так мне Оскар один раз сказал, когда мы с ним поругались.

Подонок — что это такое? Я попытался представить себе, как это выглядит. Что-то такое, что на дне, ну, вроде осадка, что-то мутное и противное. Да уж, ничего хорошего.

Я разозлился. Не на Еву, а на самого себя. На подонка.

— Ладно, я тоже уйду голодный. Вот и будем с ним квиты.

Я схватил одежду, быстро оделся, схватил портфель и выскочил на улицу. Ева кричала мне «Петтер! Петтер!», но я и внимания не обратил. Я сел на велосипед и помчался вниз по улице.

От встречного ветра у меня даже слёзы выступили.

В школе мне в тот день даже разговаривать ни с кем не хотелось. На переменах мы ходили со Стаффаном вдвоём. И уж конечно, мне было не до уроков. (Мне вообще в последнее время было не до уроков.) Я просто не мог заставить себя слушать, что

там объяснял учитель. Я смотрел в окно. В животе у меня урчало от голода. Солнце за окошком сияло вовсю.

Учитель задал мне какой-то вопрос, но про что — я даже не слышал.

— Петтер, на уроках надо слушать, а не витать в облаках! — сказал он. — Ну, разве так можно?

— Да, — сказал я. — То есть нет.

— Можно выйти? — поднял руку Стаффан, чтобы выручить меня.

— Ты не можешь потерпеть? Скоро перемена.

— На перемене у меня не получается, — сказал Стаффан, и весь класс рассмеялся.

Тут прозвенел звонок.

На перемене я говорил со Стаффаном про Оскара и Еву, какие они стали невозможные, раздражаются из-за всякой ерунды.

— Значит, скоро разведутся, — сказал Стаффан. — Это уж точно. С моими такое же творилось перед тем, как развелись.

Вот ещё новость! Чтобы Оскар с Евой вдруг развелись? Я не мог этому поверить, хотя Стаффан сказал это с видом знатока. Я знал, что его родители года два назад разъехались. Летом он всегда ездил на месяц к отцу. Отец у него жил теперь в другом городе. Стаффану, конечно, лучше было знать, у него был опыт.

И всё-таки нет. Я никак не мог поверить. Для меня Оскар и Ева были что-то одно. Я не мог представить их себе друг без друга. И потом... По глазам же было видно, что они по-прежнему нравятся друг другу. А может, всё это одни фантазии? Разве они не злились друг на друга в последнее время? И о чём, спрашивается, они шептались по ночам?

Я не знал, что и думать. Я и верил, и не верил.

— Мне кажется, ты ошибаешься, — сказал я.

— Может быть, только это редко бывает, — сказал он и ухмыльнулся.

Эта мысль прямо вцепилась в меня, засела где-то в животе, грызла, грызла, будто грызун. А как же тогда мы с Лоттой, — думал я. — Это что ж получается — мы будем видеться с Оскаром только один месяц в году?

Стаффан убежал домой. Я был даже рад. Мне хотелось побыть одному. Я медленно побрёл по школьному двору к выходу. Я шёл и смотрел себе под ноги на асфальт, на котором вечно что-нибудь писали и рисовали мелом, а потом это стиралось подошвами. Я был занят своими мыслями.

Тут я столкнулся с кем-то из ребят. Это оказался Карл-Эрик. Карл-Эрик был на класс старше меня. Он был известный задира и драчун. С ним лучше было не встречаться. Обязательно пристанет.

— Ты что, ослеп? — сказал он.

Я хотел пройти мимо, но он схватил меня за рукав.

— погоди. Торопишься, что ли? И поговорить некогда?

— Мне не о чем с тобой разговаривать, — сказал я и попытался вырваться. Но он держал крепко.

— Ах, так. Не о чем, значит, разговаривать! — сказал он и ухмыльнулся. — Зато у меня есть к тебе разговор.

— Валяй. Говори. Только мне-то с тобой говорить всё равно ни к чему. А ты говори, если хочешь. Пожалуйста.

Я почувствовал, как на меня накатывает бешенство, слепое бешенство, мне даже трудно стало дышать.

— Ну, ну. Думаешь небось, какой ты храбрый сейчас, да? А знаешь, что бывает с такими вот храбрецами? Хочешь, покажу?

Я не успел ничего сообразить, как он скрутил мне руку. Я подумал: сейчас он мне её вывихнет. Он заломил мне её за спину, чуть не к затылку, и мне пришлось нагнуться. Было так больно, что я чуть не заплакал. Я закусил губы, чтобы не закричать.

Вокруг собрались ребята. Они окружили нас кольцом и с любопытством смотрели, что будет.

— Может, ты теперь заговоришь? Я слышал, папаша у тебя коммунист?

— Кто сказал? — с трудом выдавил я. От боли даже трудно было говорить.

— Сольвейг сказала.

Сольвейг — это была дочка Голубого. Она училась в одном классе с Карлом-Эриком.

Что я мог ответить? В нашем Дальбу про коммунистов говорили, что они ужасные люди. В то же время я слышал, что Бродягу называли коммунистом, так что, может, не такие уж они и страшные.

— Признавайся, — сказал Карл-Эрик. — Говори: мой отец проклятый коммунист!

— И не подумаю! — сказал я.

Он заломил мне руку ещё выше. Я чуть не ткнулся носом в землю. Но из-за злости я уже почти не чувствовал боли.

— Ну! — потребовал Карл-Эрик.

— Нет!

Я лягнул наудачу и попал Карлу-Эрику по ноге. Рука его немного разжалась, и я вывернулся. Я набросился на него с кулаками. Он обалдел. Думал, наверное, что я кинусь удирать. Он как стоял, так и повалился. Я успел заметить, что лицо у него сначала было удивлённое, а потом уже исказилось злостью и ненавистью.

Он вскочил на ноги. Ребята вокруг подначивали нас.

— Ну, погоди, гадёныш, — прошипел Карл-Эрик.

Он набросился на меня и стал молотить кулаками. Но в горячке я не чувствовал боли. Я дрался как бешеный. Я вымещал на нём всё, что скопилось во мне в последнее время, всё, что меня мучило, всю свою обиду и всю свою злость.

Тут появился учитель и растащил нас. Он силой удерживал нас на расстоянии.

— Ну, ну, зачем же драться, — сказал он. — Разве это дело? Давайте-ка миритесь. Подайте-ка друг другу

руку. Мир, да?

Чтоб я стал подавать руку этому гаду! Ещё чего! Я просто не мог.

— Знаешь, ты кто? — сказал я. — Подонок, вот ты кто! Подонок! Понял?

Я пошёл в туалет и ополоснул лицо. Всё тело было будто тряпичное, и саднила разбитая губа. Во рту был солёный привкус крови. Я посмотрел на себя в зеркало: рыжие, взлохмаченные волосы торчали во все стороны, голубые глаза смотрели на меня испуганно и в то же время с вызовом. Лицо как лицо, самое обыкновенное, ничего особенного. Но это было моё лицо.

Я не пошёл домой самым коротким путём, как всегда ходил. Учитель пригрозил, что, наверное, ему придётся позвонить моим родителям.

— Нет, так дело не пойдёт, — сказал он мне. — На уроках ты совершенно перестал слушать, думаешь о чём-то постороннем, теперь ещё ввязался в драку. Если так будет продолжаться, придётся мне, видно, позвонить твоим родителям.

Хорошенькое дело. У Оскара с Евой и без того огорчений хватало.

Я пошёл в обход Голубого озера. Вдоль берега вилась узкая тропка. Тут были самые настоящие заросли — берёзки и рябина. Я сел на камень и долго смотрел на воду, на это голубое гладкое покрывало, натянутое над невидимым миром в глубине.

Почему нет урагана, думал я. Сейчас бы должен завывать ветер, лить дождь и греметь гром.

Нет, дальше так продолжаться не могло, это уж точно.

— Надо нам что-то предпринять, — сказал я Лотте.

Я сидел и возился с электробритвой Оскара, которая в это утро вдруг забарахлила и совсем отказала. Я отвинтил обе пластмассовые крышки и рассматривал, что там внутри.

— А что предпринять? — спросила Лотта и стала застёгивать платье на одной из своих кукол.

— Точно ещё не знаю, — сказал я, взял отвёртку и стал копать в цветных проводках внутри бритвы. — Но дальше так всё равно продолжаться не может. Оскар с Евой только и делают, что злятся или киснут. Надо их как-то развеселить.

— Ага, — сказала она. — Но как? По-моему, им не интересно то, что нам интересно. А сейчас, по-моему, им *ничего* не интересно.

— Это верно, — сказал я и привинтил отскочившие концы Проводков. Я не знал толком, какие проводки где должны быть. Но у меня был свой метод: сначала я что-то решал, а потом делал наоборот. Это для того, чтобы обмануть невезение. Если получалось неправильно, я утешался тем, что вначале я всё же правильно решил.

Лотта была права. Нелегко было найти верный способ развеселить Еву с Оскаром. С ними разве угадаешь, что им понравится, а что нет. Часто всё получалось совсем наоборот.

— Сусси надо в ванную. Она описалась, — сказала Лотта.

— Я над этим подумаю, — сказал я. — Что-нибудь да придумаю, вот увидишь.

Лотта понесла свою куклу в ванную. Я сложил электробритву и завинтил винты. Сегодня я был доволен собой: я внёс свой вклад. Я свернул шнур и положил бритву в футляр.

Я чувствовал себя не таким уж и подонком.

Я починил Оскару бритву и принял решение что-нибудь такое устроить, чтобы развеселить Оскара с Евой. Но устроить надо было что-нибудь особенное, совершенно необыкновенное. Иначе не стоило и стараться, толку бы не было. Я подумал, что лучше всего посоветоваться со Стаффаном. Он был просто напичкан всякими идеями и планами. Только выбирай. И он был не из тех, кто только строит всякие планы и ничего не делает. Он сразу начинал действовать. Для него не было ничего невозможного.

Правда, я начинал уже немножко сомневаться, что Стаффан всегда всё хорошо придумывает. Результаты иногда получались совсем другие, чем было задумано.

Вот, например, мы попробовали дрессировать Последнего-из-Могикан. (Мы ведь своими глазами убедились, что он срочно нуждается в самом внимательном воспитании.) Стаффан задумал подготовить его к участию в осенней выставке собак. Правда, он не мог выступать по разряду породистых собак.

— Ему не хватает нужного свидетельства о родословной, — сказал Стаффан. — Но в благородстве он ничуть не уступает ка-кой-нибудь там колли или китайскому мопсу. Ты только посмотри, какая у него благородная осанка и как он держит хвост!

Стаффан считал, что это чуть ли не расизм — делать различие между той или другой собакой или между собакой и свиньей. «Отсталость и предрассудки» — вот как это называется.

И значит, оставался один-единственный шанс — контрабандой протащить Последнего-из-Могикан на

испытания по выучке. А протащить его было бы легче, если б прибавить к его имени что-нибудь такое аристократическое. Ну, например: Последний-из-Могикан д'Альбу. Стаффан утверждал, что уже одно имя очень много значит.

Но успехов наш ученик пока что не делал никаких. Сколько вечеров проторчали мы у Бродяги, добиваясь, чтобы наш Могиканин хотя бы на поводке научился ходить как полагается! «К ноге!» — командовали то Стаффан, то я. Но наш Могиканин всё равно шёл как попало, то забежал вперёд, то отставал. То оказывался справа, то слева.

Стаффан уткнулся во всякие там книги по воспитанию собак, которые он взял у своего папы. В комнате у него теперь везде валялись журналы «Спортивная охота с собакой», «Собаковод-любитель» и ещё какие-то. Он с головой влез в это самое воспитание и воспитывал страшно терпеливо и настойчиво. Он то ласково уговаривал, таким сладеньким, как мёд, голосочком, то сурово отчитывал, будто какой-нибудь старый капрал.

Бродяга изо всех сил помогал нам дрессировать Последнего-из-Могикан. Он, например, смастерил подходящие козлы, через которые наш Могиканин должен был научиться прыгать. Он сделал лестницу, на которую мы просто обязаны были научить его взбираться. Он давал нам полезные советы и развлекал нас весёлыми песенками под гитару. Он подбадривал нас, когда мы уже готовы были отступить от нашего бестолкового Могиканина, который упорно не желал усваивать то, что мы старались ему вдолбить.

Бродяга считал, что мы делаем очень важное дело. Искренне так считал. Это уж точно. Для него это была не просто шуточная забава. Они со Стаффаном могли часами обсуждать всякие там приёмы и хитрости

дрессировки, а ученик вертелся тут же и доверчиво тыкался своим пяточком им в ноги.

Нет, кой-чего мы всё же добились! Последний-из-Могикан стал гораздо ласковее. Он уже узнавал нас. Когда мы приходили, он кидался нам навстречу и так смотрел на нас своими свинными глазками, будто хотел спросить: «А что мы сегодня будем делать? Уж сегодня я буду очень стараться угодить вам, честное слово!»

А может, он тоже понимал всю серьёзность мероприятия? Мы, например, заметили, что он жутко боится высоты (так уж он, наверно, был устроен), но несмотря на это, он как-то раз одолел целых четыре ступеньки — и с визгом грохнулся в заросли лебеды. Мы захлопали в ладоши и радостно завопили, какой же он молодец. Бродяга сгонял на велосипеде в молочную, заставил тётю Лесбор спуститься вниз, хотя было уже закрыто, и купил целую кучу мороженого, чтобы отпраздновать такое событие. Последний-из-Могикан тоже получил порядочный кусок, он с аппетитом поглощал его, а мы все трое отплясывали вокруг него танец дикарей. Бродяга даже забыл про свою больную поясницу.

— Мы им всем ещё покажем! — сказал он. — Вставай на борьбу со всеми на свете мопсами, борзыми, карликовыми пуделями, ротвейлерами, доберманами-пинчерами и овчарками! Настанет день, когда простые хрюшки поднимут восстание. Когда они не захотят больше служить только отбивными для этих привередливых породистых псов!

Ещё как покажем, думали мы. Придёт день — и Последний-из-Могикан продемонстрирует своё искусство и победит всех этих любимчиков со всеми их родословными!

И вдруг ужасная новость! Бродяга сообщил нам, что сроки соревнований переносятся с сентября на июнь. Времени у нас оставалось всего несколько недель!

— Нам ни за что не успеть, — решил Стаффан. — Вот чёртовы собачники!

Тут мы вдруг увидели, сколько ещё у нашего Могиканина недостатков, сколько ему ещё надо учиться. Сам-то он, по-моему, не очень беспокоился. Лежал себе спокойно у наших ног и тёрся своей глупой башкой о наши брюки.

— Нельзя так легко сдаваться, — сказал Бродяга. — Мы должны бороться до последнего. А то кто же мы такие будем — сборище жалких трусов? Придётся теперь тренировать нашего Могиканина побольше и почаще. Мы вступим в битву со временем. Я могу немного заняться с ним, пока вы в школе. А после школы — интенсивная тренировка общими усилиями.

— О'кей! — сказал Стаффан.

— Идёт! — сказал я.

— Хрю-хрю! — сказал Последний-из-Могикан.

Конечно, я тоже взялся за дело, но, честно говоря, не так горячо, как они. (Взялся ли за дело сам Могиканин — трудно сказать.)

У меня ведь были и другие заботы. Сейчас ещё больше, чем раньше требовалось как-то подбодрить Оскара с Евой. Мои старания починить Оскару электробритву не увенчались успехом. Когда Оскар включил её, она зажужжала, как ошалевшая комнатная муха, потом пошёл дым и запахло пригорелым хлебом. Оскар выдернул шнур и положил подальше от себя эту вонючую гадость.

— Что, не работает? — спросил я участливо и покосился на чадающую пластмассовую штуквинку.

У Оскара был такой вид, будто он догадывался, что дело тут не обошлось без меня.

— Отчего ж, сработала будь здоров! — ехидно сказал он. — Что твоя зажигательная бомба.

Он не прибавил больше ни слова и вышел. И так грохнул дверь, что и вправду будто бомба взорвалась!

А меня будто придавило взрывной волной. Подонок! — отдалось эхом в голове. Вот именно, подонок и трус!

На следующий день я поговорил со Стаффаном. Хотя его идеи и казались мне иногда немного сомнительными, но на свою собственную сообразительность я совсем уж не рассчитывал.

Он лежал в кровати и изучал «Как ты дрессируешь свою собаку». Вокруг валялись кучи всяких журналов и книг. Некоторые статьи он выдрал и приколот к стене. На животе у него лежала большая подушка.

— Почему у тебя подушка на животе? — спросил я.

— Так лучше думается, — сказал он. — Держи живот в тепле, а голову в холоде. Я думаю, всё будет о'кей. Пусть даже наш Могиканин не победит, пусть хотя бы войдёт в первую десятку — для него это уже победа. Какого чёрта! Да любое животное можно выдрессировать, если захотеть: мыши, гуси, мухи, блохи...

— А как, по-твоему, родители тоже поддаются дрессировке? — поинтересовался я.

— Ну, знаешь... — Тут он замялся. — Может, в исключительных случаях. А ты почему спрашиваешь?

Он сел на кровати и внимательно посмотрел на меня.

Я ему всё рассказал: про Оскара, и про Еву, и про всё. И что их надо как-то развеселить. Что дальше так жить невозможно.

— Это мы устроим. — сказал Стаффан. — Не беспокойся. Конечно, тут требуется что-нибудь этакое... Пустячками тут не обойдёшься. Что-нибудь этакое... Выдающееся.

Это он верно говорил.

— Годовщина свадьбы — неплохо бы, а? — сказал он, немного подумав.

— Свадебный юбилей? — сказал я. — Но я понятия не имею, когда у них день свадьбы.

— Не имеет значения, — решительно сказал Стаффан. — Главное — им требуется отпраздновать свадебный юбилей.

— А как его устроить?

Я понятия не имел, как его вообще празднуют. Я не помнил, чтобы Оскар с Евой когда-нибудь что-нибудь такое праздновали. Они вообще не очень-то любили праздновать всякие там торжественные даты. Хочешь веселиться — веселись, когда придёт охота, говорили они. У нас ни дни рождения, ни именины, ни рождество никак особенно не праздновались.

— А очень просто, — сказал Стаффан. — Первое — создать праздничную обстановку. Большинство людей не выносит однообразия и впадает в депрессию, если не меняется среда обитания. Ну, а второе — праздничное угощение.

Стаффан любил вставлять разные там умные словечки вроде «депрессия» и «среда обитания», когда говорил про что-нибудь важное. И сразу становилось понятно, что да, конечно, правильно, вот как нужно сделать, только так.

Я так был благодарен Стаффану, так благодарен.

— Надо будет, конечно, составить подробный план, — сказал он задумчиво. — Я это всё не торопясь продумаю. Тут нельзя торопиться.

Это он верно сказал. Я уже знал, что иногда получается, когда поторопишься.

— Прежде всего нам надо выбрать свободный день, чтоб успеть всё подготовить. А родителей твоих надо на это время как-то удалить из дома.

Но ни Стаффану, ни мне не приходило сразу в голову, каким такими хитрым способом можно было бы на нужное время удалить Оскара с Евой из дома. Поэтому мы решили: пусть Стаффан сам потом составит план. А день мы выбрали — следующую субботу.

— Положись на меня, уж эту проблему я решу, — сказал Стаффан, снова улёгся и положил себе на живот подушку, чтобы лучше думалось.

— Будь тут, пожалуйста, поосторожней, береги себя. Мы всего на несколько часов.

Ева давала мне наставления, высунувшись из машины.

— И запомни: никаких глупостей! — подключился Оскар. — Постарайся хоть раз в жизни вести себя нормально. Шутить с тобой я больше не намерен.

— Не беспокойся. Я буду смирнее ягнёнка, — сказал я.

— Вот и прекрасно. А то как бы тебе не превратиться в того самого жертвенного ягнёнка, которого отдали на заклание, — ответил мне Оскар.

Мне вовсе не хотелось превращаться ни в какого жертвенного ягнёнка.

— Поезжайте спокойно! — крикнул я им. — Из-за меня можете не спешить!

Страшновато было смотреть, как наш старый чёрный драндулет с лязгом и грохотом запрыгал под горку, с таким ужасным звуком, что тишина раскалывалась на куски, и люди просыпались, и кузнечики в канавах испуганно замолкали, и пёстрые бабочки поскорее улетали подальше от пылящей дороги.

Оскар всегда покупал подержанные машины, которые очень скоро обнаруживали все свои недостатки — они ржавели, скрипели, пожирали деньги на ремонт и стреляли на ходу шинами. Эту последнюю мы прозвали «дед», потому что у неё был такой же чудной характер, как у нашего дедушки — она в любую минуту могла выкинуть что угодно.

Всё шло как по маслу!

Пока что план нигде не дал осечки. Всё шло, как и было задумано.

Правда, Оскара с Евой телеграмма немножко удивила. Трюк с телеграммой — это был «гроссмейстерский ход» Стаффана. «Гроссмейстерский ход» — одно из его «умных словечек».

— План — это как шахматная партия, — говорил он. — Главное — уметь предусмотреть ходы противника. Продумать все возможные варианты. Вся игра должна быть построена, начиная с первого хода. А потом — хлоп! — делаешь гроссмейстерский ход!

Так вот. Телеграмма — это и был «гроссмейстерский ход» с целью заставить Оскара с Евой уехать из дома, чтобы у нас было время подготовить «сюрприз». Для телеграммы требуется отправитель и текст — вот тут нам пришлось повозиться. Не могли же мы взять и отправить телеграмму от самих себя. А фальшивый отправитель, ну, то есть указанный в телеграмме отправитель, мог бы разоблачить всё это дело, и тогда неприятностей не оберёшься.

Я долго думал и выбрал дедушку.

Я выбрал дедушку по двум причинам. Во-первых, потому, что сам он никогда не стал бы поднимать из-за этого шума. Он был актёром в душе и обожал всякие розыгрыши. А во-вторых, мне просто хотелось, чтоб его навестили. Дедушка жил в доме для престарелых за несколько километров от нашего Дальбу. В последнее время мы очень редко стали его навещать, всё как-то не получалось. Оскару с Евой было вроде не до того.

«ОСКАР ЕВА НАВЕСТИТЬ СТАРИКА ТОЧКА СУББОТА 10 ЧАСОВ ДЕДУШКА ТОЧКА» — написали мы в телеграмме. Я очень старался, чтобы получилось в его стиле. Коротко и выразительно.

— Совсем дед спятил, — сказал Оскар. — Телеграммы шлёт!

— Он всегда был такой, — сказала Ева. — Кстати, мы действительно давно у него не были. А он не из тех, кто сидит и ждёт сложа руки. Он человек действия.

— Бог его ведаёт, — вздохнул Оскар. — Нет, не говори... Иногда с ним даже потруднее, чем с Петтером. А это уж, знаешь ли...

— Но вы ведь всё-таки поедете? — забеспокоился я.

— Поедем. Ничего не поделаешь, — сказал Оскар.

И вот теперь они, значит, уехали.

Довольно скоро явился Стаффан. Он был так нагружен всякими коробками, пакетами, кульками и мешками, что его самого и видно почти не было. Этот ходячий багаж насвистывал какой-то бодрый мотивчик.

Я прихватил кой-какие нужные нам штуковины, — сказал он. — А теперь давай-ка пошевеливайся. Дел полно!

Сначала мы принялись за уборку. В последнее время с уборкой у нас дома было плоховато. Правда, Оскар с Евой и раньше не были такие уж чистюли. «Уборку надо делать, когда есть к тому охота. В этой жизни есть дела поважнее, чем возня с пылесосом», — всегда говорила Ева.

Она, конечно, правильно говорила. Вот только куда вообще подевалась эта самая «охота»?

В мойке было полно грязной посуды. По углам собралась пыль, большие серые хлопья, как мыши, притаились за дверьми.

Мы начали с посуды, а Лотта в это время вытирала пыль. У нас одна только случилась маленькая беда — разбилась тарелка, когда Стаффан хотел изобразить жонглёра, которого он видел в цирке. Вообще-то, как он объяснил, он даже и не был виноват. Всё получилось просто из-за того, что он загляделся на узор, пока тарелка кружила в воздухе.

— У меня, понимаешь, будто руки отнялись, — сказал он. — Я загляделся, как парят в воздухе эти зелёные пеликаны. Надо же, как они неудачно приземлились!

— Не беда, — сказал я. — Мы этой тарелкой всё равно почти не пользуемся. После подберём. Я сначала всё вытру.

Но Стаффан считал, что вытирать ни к чему.

— Вытирать вручную — это же просто не творческий подход к делу, — сказал он. — Нам надо всё рационализировать, если мы вообще хотим успеть.

Стаффан всегда был сторонником «технических решений».

Он взял нашу старую сушилку для волос и два больших гвоздя и прибил сушилку над мойкой, к деревянной доске под кухонным шкафчиком. К трубке, откуда выдувался воздух, он прикрепил воронку.

— Таким образом, посуда у нас оmyвается горячим воздухом, — объяснил он. — Воронка служит здесь как форсунка. Вода испаряется мгновенно. Ловко, а?

Да, до такого мог додуматься только Стаффан. Просто и быстро. Можно было переходить к мытью пола. Тут он тоже нашел «техническое решение».

Мы взгромоздили стулья на столы и сдвинули всю мебель в одно место. Потом рассыпали по полу стиральный порошок — получилось красиво, будто снежное поле. Потом втащили через кухонное окно шланг от поливальной машины и насадили на него распылитель.

— Высший класс! — радовался Стаффан. — Раз, два — и готово. Останется только подтереть.

— По-моему, давайте лучше мыть по-обычному, — сказала Лотта, которая была человеком более осторожным.

Когда вода душем хлынула в комнату, когда хлесткие струи заплясали по полу и стали взбивать

пену из порошка и получилось целое бушующее море с белыми гребешками волн, я уже начал жалеть, что не поддержал Лотту. Я почувствовал, как надо мной, будто чёрная туча, нависает угроза превратиться в «жертвенного ягнёнка».

Когда мы вытерли всё полотенцем, па пол было приятно по-смотреть. Попало, конечно, немного и на стены, и на мебель, и мы это тоже вытерли. На обоях получились некрасивые бурые разводы, потому что вытирали мы тем же самым, не очень уже чистым полотенцем, которое использовали для пола.

— Нет, так оставить нельзя, — решил Стаффан. — Надо это дело исправить. А то получится как ложка дёгтя в бочке мёда.

— Ну, а как исправишь-то? — спросил я. — По-моему, эти обои не моющиеся.

— Если их нельзя вымыть, значит, у нас есть только один выход: покрасить их, — решительно сказал Стаффан.

А что, идея была и правда неплохая. Разве Оскар с Евой не жаловались вечно на эти обои в гостиной? Они всегда говорили, что это просто безобразие — обои и то нельзя самому выбрать. У нас во всех домах были одинаковые обои, потому что их выбирали не сами жильцы, а фабрика. И Оскар с Евой возмущались, что человек даже в своём собственном доме не хозяин. Я подумал: ничего ужасного, если мы закрасим эти синезелёные треугольники и малиновые квадраты.

У Стаффана всё было с собой. Он на всякий случай прихватил ящик со всякими там малярными принадлежностями: банки, склянки, кисти, щётки. Бери и крась! Но он считал, что если красить, как обычно красят стены, получится очень долго. Тогда мы ничего больше не успеем до приезда моих родителей.

— Нам надо красить по-другому — методом распыления, — сказал он.

У меня не было никаких предложений. Я так прямо и сказал, что в малярных делах мало что смыслю. Зато у Лотты было своё собственное мнение, хоть она ещё меньше моего в этом смыслила.

— Давайте лучше попробуем осторожненько отмыть, — предложила она.

Предложение, конечно, дурацкое. Одно из двух: или обои моющиеся, или они не моющиеся. Так мы ей и сказали. Стаффан притащил пылесос и надел шланг на бутылку с красной краской.

— Красная комната — это будет празднично и романтично, — сказал он. — Самый подходящий цвет для свадебного юбилея.

Мы включили пылесос, и он с шипением, будто огромная змея, стал разбрызгивать по стене алую краску. Стаффан был прав: дело шло быстро. Алые волны романтики разливались по скучным фабричным обоям.

Самое трудное было в точности попадания! Краска почему-то попадала не только на обои: и на пол, и на стену выше обоев, и на окна.

— Ничего, сотрём после скипидаром, — сказал Стаффан.

Жаль только, скипидара у него в ящике не оказалось. Старая качалка, которая досталась Еве от её мамы, была так вся забрызгана, что мы решили, что лучше уж её всю целиком покрасить. Мы вытащили её на террасу и там покрасили. Получилось хорошо, даже красивей, чем было.

Так. Что дальше?

Угощение Стаффан принёс готовое, это он организовал через одного парня, приятеля своей сестры, который работал в баре. Он принёс готовую «пиццу» — такой итальянский сырный пирог, его надо было только разогреть. И ещё ему там сделали торт, на

котором было написано «С днём свадьбы» и нарисовано сиропом красное сердце.

Мы и не заметили, как прошло время. Скоро уже должны были вернуться Оскар с Евой.

— Наверно, пора ставить этот пирог в духовку, чтоб успел разогреться, — сказал я.

Мы сунули пирог в духовку и включили плиту. Мы включили на полную мощность, чтобы уж пирог точно был горячим к их приезду.

— Слушай-ка, — сказал Стаффан. — Помнишь, ты спрашивал меня, поддаются ли родители дрессировке?

— Да, помню, — сказал я. — А ты что, придумал каков-нибудь прием?

— Ну, не то чтоб приём, — сказал он. — Я, знаешь, потом много про это думал. По-моему, тут никакие обычные приёмы не подходят, ну вот как, например, с собаками или со свиньями Единственный, наверное, способ — это заставить их самих пошевелить мозгами. Я вот составил тут список правил для родителей. Вообще-то ничего особенного, само собой понятно. Но взрослые, они знаешь какие, часто самых простых вещей не понимают. Только про всякое сложное думают. Но, по-моему, они могли бы всё-таки немножко исправиться, если следовали этим вот советам. Проверим хотя бы на твоих родителях.

Он достал из коробки свёрнутый трубкой лист бумаги, развернул его и приколот к стене около плиты.

На листе красивыми, чёткими буквами было выведено:

Советы родителю.

1. Будь самим собой и дай твоему ребёнку тоже быть самим собой.

2. Не прерывай дельных занятий ребёнка ради еды и других пустяков.

3. Суди о поступке по намерению, а не по результату.

4. Говори всегда всё как есть и перестань всё скрывать, и ты увидишь, что твой ребёнок сможет помочь тебе всё наладить.

5. Не используй свою любовь как орудие угнетения.

6. Не думай, что ты больше человек только потому, что ты большой.

7. Больше разговаривай нормально и меньше ворчи и приставай.

Он гордо разглядывал своё произведение. По-моему, всё было правильно, я и сам так думал. Там были некоторые вещи, которые мне хотелось бы обсудить. Но особенно разговаривать было уже некогда. Вот только одно я у него не очень понял. В чём там смысл.

— А как ты это понимаешь — что не надо использовать любовь, чтобы угнетать?

— А чего тут понимать, — сказал он. — Ну, в том смысле, что многие родители любят своих детей, только если те делают всё по-ихнему. За эту их любовь надо вроде как всё время к ним подлаживаться, быть таким, как им хочется. И выходит, что у ребёнка отнимают всё его собственное, его личность, верно? По-моему, это означает угнетение.

Я решил, что надо будет ещё потом подумать.

Скоро уже должны были вернуться Оскар с Евой.

Мы накрыли на стол и поставили две свечи.

Из свадебного юбилея получилось совсем не то, что мы задумали.

Когда мы увидели нашего «деда», который двигался странными скачками и зигзагами, будто перепуганный жук, мы как раз возились в саду с ракетами для фейерверка. Стаффан и ракеты прихватил. По его плану, мы должны были дать салют в честь прибытия Оскара с Евой.

Но в спешке и волнении мы как-то не так установили ракетницы. Как раз когда машина подъехала к дому, я поднёс спичку к одной такой штуковине, что-то затрещало, задымило, ракета со свистом взвилась, повисела над кустом сирени, а потом ринулась вниз, сделала несколько витков и — о, ужас! — угодила через опущенное стекло прямо в машину. Что уж она там натворила — неизвестно. Но только Оскар с Евой вылезли от-туда все перепачканные сажей и с такими лицами, что ясно было, как им понравился наш салют. Оскар что-то кричал, но я даже не расслышал, потому что Стаффан поджёг ещё одну штуковину, которая всё заглушила. Что-то затрещало и взорвалось, как бомба.

Мы решили, что самое лучшее для нас сейчас — скрыться и ждать их дома. Не может быть, думали мы, чтоб они не смягчились, увидев, как мы для них постарались. Уже в передней нас ждал ещё один дымящий и чадящий сюрприз. Пирог! Он разогрелся у нас в духовке до того, что превратился в плоскую, чёрную, вонючую дымовую шашку, от которой по всей квартире плавали волны дыма. Мы вытащили его и швырнули в мойку.

Наверное, Оскар увидел дым из-под двери и решил, что мы подожгли дом. Потому что он влетел к нам как сумасшедший. Пол в передней ещё не совсем высох и был скользкий от порошка. И когда Оскар с разбега влетел в гостиную, он был похож на плохого конькобежца, который размахивает руками и никак не может затормозить.

Он затормозил, только когда трахнулся о романтически красную стену. Я думал, стена не выдержит такой массы, помноженной на такую скорость.

Он долго ещё сидел на полу, прислонившись спиной к стене, и смотрел в одну точку. На его белой рубашке отпечаталось большое красное пятно.

— Чёртовы детки, — пробормотал он. — Что вы тут натвори-ли? Что вы наделали? Эти стены, эти священные стены нашего предприятия, к которым нам запрещено прикасаться! Ей-богу, лучше б у меня совсем не было детей...

Вошла Ева. Она поглядела вокруг и только рукой махнула.

Вдруг я увидел всё их глазами. Я увидел безобразные пятна краски. Я увидел чад и дым в комнате. Потом-то, конечно, всё, что угодно, можно описать с юмором. Наша память — хитрая штука, она со временем всё смягчает, иначе б нам вообще не выдержать. Но тогда мне было не до юмора. Я будто трахнулся с облаков на землю. Вот это, называется, порадовал!

«Лучше б у меня вообще не было детей». Эти слова так и отпечатались у меня в мозгу, будто их выжгли калёным железом. Может, потому, что Оскар сказал это таким голосом. Без злости, без раздражения, без крика — со злости-то что угодно можно сказать. Он сказал это устало, будто махнул на всё рукой. Что же мне оставалось? Что я мог сделать? Нельзя же взять и родиться обратно!

Вдруг я вспомнил про те правила, которые мы со Стаффаном вывесили на кухне. «Суди о поступке по намерению, а не по результату». Моё намерение, ну, то, чего я хотел, — оно же было хорошее!

Но главное — я уже больше не верил, что смогу что-то исправить. Вот тогда-то я и сдался, тогда-то и стал

трусом.

И вот, значит, я решил убежать из дома.

А что мне было делать? Что бы я ни сделал — всё было бы не то и не так. Вечно получались одни неприятности. Не мог же я просто взять и закрыть на всё глаза. Когда Оскар сказал, что лучше б у него вообще не было детей, это он про меня сказал. Лотта не способна была никого злить. Без меня всё стало бы много лучше. Я понял, что это единственное, что я могу сделать для Оскара и Евы.

Удрать. Сбежать от всего.

Свадебный юбилей закончился тем, что меня заперли в моей комнате, чтобы я хорошенько подумал, что я натворил. Я просидел взаперти всё воскресенье. Лотта ночевала у них в комнате.

За целый день ничего не произошло, кроме того, что вошла один раз Ева и принесла мне поесть. Она была как неживая, будто внутри у неё пустота, а вся жизнь из неё вышла, как воздух из воздушного шара. Она ни слова мне не сказала, ни в чём больше не упрекала, не обвиняла. Весь её вид обвинял.

Мне, конечно, было жутко обидно, что всё провалилось, и, конечно, я чувствовал себя виноватым, но я и злился тоже. Ну, почему такая несправедливость, думал я. Я же не хотел сделать ничего плохого, только хорошее. Как же до них не доходит? Почему они такие тупые?

Сбежать — это был ещё и способ отомстить. И самому себе, и им тоже.

Удрал я в понедельник вечером. Я дождался, пока все заснули. Тогда я тихонько встал и оделся. Я прислушался — Лотта дышала ровно и спокойно, спала. Я вытащил из-под подушки фонарик, который спрятал

заранее. Зажёг его и на цыпочках пошёл к письменному столу у окна. По дороге я наткнулся на куклу — эти куклы валялись у нас повсюду. Кукла была пластмассовая и отлетела далеко, скользя по линолеуму. По дороге она, наверное, села, а когда снова упала на спину, пропищала что-то вроде «мама». Я даже вздрогнул, так мне показалось громко.

Не проснулся ли кто? Лотта повернулась, но только ещё глубже уткнулась носом в подушку. Я подкрался к столу. Нашёл бумагу и ручку. Надо было оставить записку, не мог же я просто взять и исчезнуть без следа.

На листе из тетрадки для рисования я написал красным фломастером:

Не надо мне было вообще родиться, без меня вам было бы лучше. Поэтому я ухожу. Надеюсь, всё станет хорошо. Мои вещи оставляю Лотте. Кроме «Хоккея» — это Стаффану. Не беспокойтесь. Я не пропаду. Я вовсе не хотел причинять вам столько неприятностей.

Петтер.

Привет поросёнку.

Я положил записку на кровать, чтобы утром они увидели. Потом я надел кеды. Прежде чем отправиться в путь, я подошел к Лотте. Я смотрел на её лицо. И вдруг мне стало так грустно, что надо убегать из дома. Может, я ещё когда-нибудь вернусь, подумал я. Я тихонько наклонился и почувствовал её тёплое дыхание. Я осторожно поцеловал её в лоб.

— Ну, сестрёнка, — сказал я. — Теперь уж тебе придётся расхлёбывать эту кашу. До свидания.

Я подошёл к окну. Через дверь было бы слишком рискованно, пришлось бы пройти мимо их спальни, ещё наткнёшься на что-нибудь. Нет уж, лучше не надо. Я ведь знал, какой я ужасно невезучий.

Я приподнял раму и бесшумно вылез наружу.

Но прежде чем совсем уйти, я взял с подоконника деревянного поросёнка и сунул его в карман.

«Куда же мне пойти? — думал я. — И на, что я буду жить?» В кармане брюк у меня было шестнадцать крон семьдесят пять эре — всё, что я накопил. До конца жизни вряд ли хватит. Ещё у меня был перочинный нож. Чтобы резать колбасу. Только где её взять, колбасу-то?

Я подумал, что надо вернуться к Стаффану, чтобы сказать, что я ушёл из дома и получить советы на дорогу.

Всё небо было в низких, тёмно-лиловых тучах, будто чьи-то великаны руки тянулись сверху к холмам и к долине — вот-вот подцепят крошечный посёлок и уволочут его с собой или сожмут в ладонях, как мячик, и зашвырнут куда-нибудь повыше. Окна домов были уже тёмные. Вдалеке, там, где фабрика, был виден яркий свет прожекторов. Дальбу уже спал. Вся Швеция спала, закутавшись в темноту. Сквозь тучи иногда проглядывала зеленоватая половинка луны.

Я спускался по нашей улице. До Стаффана идти было недалеко. Он жил внизу, где уже начинался сам посёлок.

В окне его комнаты штора была опущена. Он жил на первом также. Я встал на цыпочки и постучал. Никакого ответа. Через некоторое время штора приподнялась до половины, и я увидел расплюснутую физиономию Стаффана — нос ну прямо пороссячий пяточок. Он увидел меня и состроил кислую рожу.

Рама приподнялась.

— Привет, — сказал он. — Чего это ты шляешься по ночам?

— Я решил сбежать из дома, — сказал я. — Вот пришёл попрощаться.

Он, по-моему, даже не очень удивился, а я-то думал, он просто обалдеет.

— Ну, ты даёшь, — сказал он. — Влезай-ка. Надо нам это дело обсудить.

Я стал протискиваться в узкое отверстие. Стаффан схватил меня за руки и помог влезть.

— Располагайся, — сказал он и показал на развороченную постель.

Я сел, а Стаффан взял стул, повернул его спинкой ко мне и уселся на него верхом. Он обхватил руками спинку, упёрся в них подбородком и задумчиво глядел на меня.

— Вот, значит, как, — сказал он. — Значит, ты решил сбежать?

— Да, — сказал я. — Это всё, что я могу для них сделать. Всё так запуталось, что просто ужас. Я думаю, без меня они сумеют разобраться. Лучше мне не ввязываться. Им и без меня тошно.

— Да, с этим свадебным юбилеем, конечно, не очень здорово получилось, — сказал он. — Никуда не денешься: моя недоработка. Допущены просчёты при составлении плана, это бесспорно. В результате конструкция сработала вхолостую. Но я позвонил твоему отцу и всё рассказал.

Про это я ничего не знал. Я ведь сидел взаперти, как морская свинка в клетке.

— Ну, а он что?

— Да ничего. Честно говоря, не проявил большого интереса. Просто взял и положил трубку. И я решил, что не стоит перезванивать.

— Вот видишь, — сказал я. — Вот так теперь всегда. С ними просто невозможно разговаривать. И по-моему, всё это из меня. Правда-правда. Это я всё наделал. Мы, наверное, ну вроде как не подходим друг другу. Нам трудно жить вместе. И становится всё труднее. Вот почему я решил уйти.

— Ясно, тебе надо уходить, раз ты считаешь, что это самое правильное. Только не воображай, что можно убежать от самого себя.

Я очень удивился.

— Как это — убежать от самого себя? Понятно, что нельзя.

— А вот некоторые воображают, что можно. Ну, ладно. А ты продумал практические детали? Что взять с собой, и всякое такое.

Стаффан напал на свою любимую тему. «Вот и хорошо, — подумал я, — он наверняка подскажет мне что-нибудь дельное».

— Не-а, — протянул я. — Понимаешь, так вышло, что даже некогда было подготовиться...

— Так я и знал, — усмехнулся Стаффан. — А ведь такой побег — это тебе не шуточки. Это всё равно что экспедиция в Африку или там Гренландию. Надо всегда заранее думать, что взять с собой. Правильно снарядиться в путь — очень важно для успеха экспедиции. Без правильного снаряжения можно легко стать добычей снежных буранов, голода, носорогов и зноя пустынь. Нет, так не годится. Ты надолго собрался?

— Ну, как надолго... — замялся я. — Точно не знаю, думаю, навсегда.

— Это, выходит, лет на семьдесят — восемьдесят, — высчитал Стаффан. — Если, конечно, ничего не случится. А куда ты собрался?

— Не знаю, — признался я.

А ведь правда: я совсем не обдумал план побега. Просто взял и удрал, уж как получилось. Я думал только про то, сбежать мне или не сбежать, нужно ли это и почему нужно.

— Тогда, значит, надо исходить из того, что ты можешь очутиться в каком угодно месте, — сделал он вывод. — От Монголии до Боливии. Ясно одно: никаких твоих карманных денег тебе не хватит. Придётся подрабатывать по дороге — ну, например, работать сборщиком бананов, золотоискателем, почтальоном, уж что подвернётся, чтоб платили наличными.

Это он правильно говорил. Придётся теперь самому зарабатывать себе на хлеб. Мне сделалось страшновато: получится ли у меня? Что я вообще умею?

— Ничего, не пропадёшь, — утешал меня Стаффан. — В мире полно всяких там директоров, владельцев плантаций и владельцев капиталов, которые с удовольствием берут под крылышко тех, кто согласен вкалывать, чтобы увеличить их богатства. А теперь надо заняться сборами, давай поглядим, что тебе может понадобиться.

Он решительно встал, с озабоченным видом прошёлся по комнате, начал выдвигать всякие там ящики, вытаскивать всякие коробки и коробочки, рыться в белье, в игрушках, в книжках и тетрадях. Достав какую-нибудь вещь, он разглядывал её с видом опытного путешественника, потом или клал обратно, или швырял в кучу посреди комнаты, которая всё росла и росла. Комната Стаффана — это просто сказочное Эльдорадо, кладовая всяких полезных вещей, которые он хранит на всякий случай. Уж он-то не отправился бы путешествовать на авось, как я.

— Вот тут я отобрал тебе самое необходимое, — сказал он, указывая на кучу на полу. — Много тащить с собой тоже нельзя. Пара тёплого нижнего белья на случай холодов, шерстяные носки, дорожный плащ-

дождевик, будильник, нож для консервов, книга про съедобные грибы, карта Вестергётланда, пакет сухого молока и многоцветная шариковая ручка.

Он уложил вещи в потёртый кожаный чемоданчик, щёлкнул замком и протянул мне маленький ключик.

— Жалко всё-таки, — вздохнул он. — Жалко, что тебе надо убегать. Ну, ладно, теперь ты хоть снаряжён как следует и можешь смело отправляться навстречу приключениям. Тут вот ещё кое-какие мелочи на дорогу. Положишь в карман.

Он дал мне две плитки шоколада и пачку нюхательного табака. Я сунул всё это в карман куртки, где у меня лежал деревянный поросёнок. Туда же отправились ещё накладные усы.

— Шоколад — очень питательный продукт, — сказал он. — У лётчиков в карманах всегда полно плиток шоколада, на случай, если, например, рухнешь на какой-нибудь необитаемый остров или ещё что. Нюхательный табак — отличное оборонительное оружие против носорогов или там тигров. Вдунешь ему щепотку прямо в нос, когда набросится, — и всё. Он расчихается, и уже с места не сможет двинуться. Самое верное средство. Накладные усы могут пригодиться, если тебе вдруг нужно будет замаскироваться.

— Спасибо тебе, — сказал я. — Ты настоящий друг. Ну, мне, наверное, пора.

— Да, пора, — сказал он. — Жалко всё-таки. Как же теперь с тренировками нашего Могиканина? Трудновато нам будет.

— Передай привет Бродяге, — сказал я и постарался проглотить комок в горле. — Ну, пока!

Я взял чемоданчик и подошёл к окну, за которым была ночь, темнота и неизвестность. Тут я на минутку задержался. Стаффан положил руки мне на плечи. Вид у него был очень грустный.

— До встречи! — крикнул он мне вслед, когда я уже вылез в окно и пошёл, крадучись, по росистой траве. — увидимся, когда народится новый месяц!

С потёртым дорожным чемоданчиком, сплошь обклеенным этикетками иностранных отелей, отправился я в путь в дальние страны.

Луна теперь вышла из-за туч. Но света от неё было немного. Деревья у дороги отбрасывали бледные тени. Сколько ни иди дороге не будет конца. Дороги выходят на дороги, которые ведут к другим дорогам. Вся земля — сплошная сеть дорог, больших и маленьких. Только подумаешь про все эти перепутанные дороги — и ноги отказываются идти.

Я и правда уже начал уставать. Чемодан оттягивал руку. Иногда мимо с шумом проносилась машина, и фары освещали местность вокруг. Я уже вышел из посёлка. Здесь были луга и поля, пшеница и рожь. Стояли спящие лошади, неподвижные, как чучела в музее. Деревянные домишки и сараи были похожи на чёрные кубики, рассыпанные на плоской доске земли.

Я свернул на одну из боковых дорог. Мне надоело каждый раз спускаться в канаву, когда мимо проносилась машина. «ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО» было написано на дорожном указателе. А, какая разница, подумал я. Всё равно уже пора было искать себе ночлег.

Лёгкий ветерок донёс до меня какой-то едкий запах. Я понял, откуда этот запах, когда увидел вывеску, на которой было кое-как намалёвано: «ЗВЕРОФЕРМА БРАТЬЕВ ПЕРСОН НОРКИ — ЛИСЫ».

Сама звероферма была расположена немного выше по склону. Одиннадцать длинных низких деревянных построек вроде свинарников, только вместо стен металлическая сетка. Жестяные крыши блестели в лунном свете.

Я прошёл мимо деревянных ящиков с обрезками мяса, над которыми вились и жужжали мухи. Из клеток слышалось какое-то попискивание, будто там сидели птицы. Когда я проходил мимо, я видел светящиеся зелёные точки глаз в темноте. Этот тяжёлый запах, эти странные звуки, эти мерцающие в темноте глаза — будто я сам попал в такую вот металлическую сетчатую клетку, из которой уже не вырваться. Я уже еле шёл, до того я устал. Ноги были как ватные. В голове шумело. Все эти последние ночи я не высыпался, и только теперь вдруг почувствовал, до чего же мне хочется спать.

Немного в стороне от дороги я увидел какую-то старую-престарую машину, которая была поднята на деревянные подставки. Это был «опель-капитан». Вокруг уже поднялись целые заросли — малина, ивняк, рябинки. Я открыл дверцу и посветил внутрь фонариком. На полу валялись пивные бутылки, а за задним сиденьем — несколько бутылок из-под водки.

Ясно, что здесь уже и до меня ночевали.

Я устроился на заднем сиденье. Будильник я вытащил из чемодана и поставил на переднее сиденье. Я завёл на полседьмого. «Пять часов всё-таки посплю», — подумал я. Деревянного поросёнка я пристроил рядышком. С ним было уютнее.

Я заснул сразу, но спал беспокойно. Всё время просыпался, прислушивался к незнакомым звукам вокруг и снова засыпал. А потом как провалился.

Дрррррррр! — затрещал будильник.

Я вскочил и спросонья никак не мог надеть куртку, которая лежала у меня под головой. Солнечный свет радужной плёнкой лежал на мутном стекле. Наконец я нащупал будильник, и трезвон прекратился. Где я? Ах, да! На заднем сиденье старого драндулета в путешествии на край света.

Надо было по-быстрому сматываться, пока меня не обнаружили.

Я вылез из «опеля», волоча за собой свой дорожный чемодан. Зверушки глядели на мир сквозь решётку, провожали меня своими настороженными, пугливыми глазками. Я поставил чемодан и вошёл в звериную тюрьму. Норки тыкались своим коричневыми мордочками в сетчатые дверцы. Они были заперты в маленьких, низких клетушках. Сверху, на металлической сотке, лежало что-то похожее на требуху. В каждом доме было наверно; сто таких клеток. Прямо под клетками у них была уборная, там ужас сколько накопилось.

Мне чуть не сделалось дурно. Жуткое дело! Почему этих бедных зверушек держат взаперти? Что они сделали плохого? Что их ждёт? Я вышел оттуда весь взбудораженный. Как это люди могут быть такими жестокими!

Я прошёл ещё немного вдоль дороги, мимо валявшегося в траве проржавевшего автомобильного мотора, мимо развалившегося сарайчика. Здесь уже начинался сосновый лес. На прогалине я увидел ещё клетки. Они были огорожены забором. Я вытащил деревянный колышек, которым запиралась калитка, и вошёл. Здесь была тюрьма для лисиц. Они метались в своих тесных клетках из угла в угол, и я представил, как больно им ходить по металлической сетке. Дальше за этими клетками были такие же деревянные постройки, как и для норок. Я вошёл в одну из них. Клетки здесь были ещё меньше, наверно, всего метра полтора в длину и ширину, и в каждой сидело по несколько лисенят. Они были похожи на пушистых серых щенков.

Некоторые клетки были битком набиты — по десять, пятнадцать штук в каждой. Просто негде повернуться. В одной клетке я увидел обглоданную дочиста коровью

челюсть. Нет, я не мог спокойно смотреть на этих бедняжек! Они глядели на меня так испуганно и в то же время так жалобно, будто хотели сказать: «Отпусти нас! Мы не хотим, чтобы нас убили! Мы не хотим сидеть здесь взаперти. Мы хотим на волю, в лес, на мягкую травку!»

Я недолго думая взял и открыл одну клетку. У меня это как-то само собой получилось. Изнутри послышалось фырчанье и тьяканье. Потом вдруг — раз! — из дверцы так и посыпались серые комочки. Они прыгали один за другим в проход, мчались вереницей к выходу, и я оглянуться не успел, как их уже и след простыл.

— Проклятие! Это ещё что такое?!

Я услышал чьи-то шаги снаружи. И в страхе попятился. Кто-то шёл сюда сейчас, конечно, войдёт проверить, как это лисенята умудрились выскочить. Я повернулся и побежал по проходу. По одну сторону я заметил пустую клетку. Я открыл ее, протиснулся внутрь и закрыл за собой дверцу. В ту же секунду хлопнула входная дверь. Тяжёлые шаги приближались. Я сжался в комочек. Проволочная сетка резала ладони. А шаги всё приближались.

Вдруг я увидел пару сапог и две ноги в синих брюках. «Господи, пронеси!» — взмолился я. Я уж подумал, что человек пройдет мимо. Но тут сапоги остановились. Они торчали прямо у меня под носом. Я оцепенел от страха.

Человек, видно, наклонился. Я увидел две большие руки, которые открывали дверцу. Руки крепко схватили меня. Я был будто камень, неподвижный, холодный камень. Тут я и вправду пожалел, что родился на свет. Ужасная, непоправимая ошибка! Я увидел перед собой небритое, худое лицо. Оно смотрело на меня злыми глазами.

— Ну, всё, паршивец, попался!

Дядька больно схватил меня за шиворот, будто лисёнка за загривок, и вытащил из клетки.

Не говоря ни слова, этот злющий дядька поволок меня по проходу, вытолкнул на улицу и потащил мимо клеток с лисицами, которые смотрели на меня сквозь решётку, как заключённые. Выпущенных мною лисенят нигде не было видно. Значит, они всё-таки вырвались на волю. Дядька так и оставил калитку открытой. И они, конечно, нашли этот выход. Я обрадовался за них. Самому мне, конечно, здорово не повезло. Но за них я радовался. Теперь они уже были в лесу. Они бежали по мягкому мху. Трава щекотала им брюшки. Наконец-то они могли распрямиться, могли прыгать, играть, гоняться друг за другом по утренней росе. Они были свободны! А ночью они могли подкрасться потихоньку к проклятой вывеске «ЗВЕРОФЕРМА БРАТЬЕВ ПЕРСОН НОРКИ — ЛИСЫ» и протявкать злорадно: «Мы сбежали! Мы на воле! Теперь берегитесь! В одну прекрасную ночь мы придём и освободим своих товарищей по заключению! Мы будем жаловаться в Общество защиты животных и в Комиссию по санитарному надзору!»

Дядька продолжал молча подталкивать меня перед собой.

«Что он собирается со мной сделать? — думал я. — Что со мной будет?»

Мне было страшно. Но в то же время мне хотелось уже орать от злости. Сколько можно молчать? Это действовало мне на нервы. И потом — мне же было больно!

— Ну и пожалуйста, убивай! — крикнул я. — Ты ж собрался заколоть меня, как собаку, да? Лучше уж сразу убей! Тебе ж наплевать, что ты меня сейчас задушишь.

Я сам не знаю, как это у меня вырвалось. На меня иногда находит. Тогда я могу чёрт-те чего наговорить.

Но дядька будто и не слышал. Он продолжал молчать как дурак. Ну, а я не мог молчать:

— Давай убивай, дурак ты, живодёр несчастный! Спусти с меня шкуру, как ты делаешь со своими лисицами. Сошьёшь себе дублёнку. А ещё лучше — кожаные перчатки для своей жены. А что, отличная идея: дамские перчатки из настоящей мягкой мальчишечьей кожи. И вообще, насажай-ка ты в свои клетки детишек и корми их своею вонючей требухой. Выгодно ведь, а?

— А ну, заткнись! — прошипел он.

Дядька был злой как чёрт. Он ещё крепче ухватил меня за загривок. Я был как в тисках. Но даже когда он втащил меня в какой-то дом, я всё равно продолжал своё. Я не мог уже остановиться. Будто само говорилось.

— А вот и не замолчу! Буду говорить, сколько захочу! С норками да лисицами, понятно, проще. Они не жалуются. Они не говорят, как им плохо. Не могут сказать тебе, что ты чурбан бесчувственный. Запереть бы тебя самого на недельку в эту твою вонючую тюрьму, чтоб ты гадил прямо на сетку, сразу бы небось очухался!

Он втащил меня на кухню. Кухня была большая, с холодильником и цветами на окне. За столом сидела женщина в халате и пила кофе. Она взглянула на нас.

— Господи, что такое? — сказала она.

— Вот, поймал, — сказал дядька. — Этот сопляк взял и выпустил мне целых пятнадцать лисенят. Выпороть бы хорошенько, чтоб ни сесть, ни встать! Небось запомнил бы!

Я удивился, как это он сумел сказать столько зараз.

— Чего ты его сейчас-то держишь? Гляди-ка — мальчишка весь побелел.

Она обратилась ко мне:

— Хочешь чашку молока с бутербродом?

— Нет, фру, большое спасибо, — сказал я как можно вежливее. — Достаточно будет и кружки воды с кусочком той самой требухи для лисиц, в крайнем случае, можно ещё погрызть коровью челюсть. Зачем мне наедаться перед смертью?

Я не собирался попадаться на этот крючок. У меня ещё всё дрожало внутри от злости и от возбуждения. Конечно, мне было страшно, очень даже страшно. Но в то же время я ничего уже не боялся. Мне уже нечего было терять. Побег мой, можно считать, не удался. Меня, конечно, отправят обратно домой. Представляю, что скажут Оскар с Евой. Хуже теперь всё равно не будет. Дальше уж некуда.

— Слыхала? — сказал дядька. — Каков, а? Так и свернул бы ему шею!

Но он уже не держал меня больше за шиворот. Я сидел на стуле. А он сидел рядом и сторожил, чтоб я вдруг не улизнул.

Женщина улыбнулась во весь рот, у неё были плохие зубы.

Она всё пыталась взять меня добром.

— Ну что ж, его тоже можно понять, — сказала она. — Он думает, что мы жестоко обращаемся с животными, что они у нас мучаются. Ведь думаешь, да? Но ты пойми: животные чувствуют совсем по-другому, чем мы. Ну, я хочу сказать, что животные мучаются и страдают совсем не так и совсем не от того, от чего страдаем мы. Ты меня слушаешь?

Честно говоря, я её не слушал. Мне противно было слушать всю эту её трепотню. Откуда ей знать, что чувствуют лисицы, подумал я. Сама она, что ли, лисица?

Нет, я её не слушал. Я думал про своих выпущенных на волю лисенят. Я так и видел, как они сейчас там играют, барахтаются, как приглядываются и

прислушиваются к незнакомому вольному миру: глазки горят, ушки на макушке.

— Здешние норки и лисицы привыкли так жить. И им здесь хорошо. И разве так уж плохо, чтобы у людей были красивые шубы? Я уверена, что твоя мама была бы просто счастлива иметь такую вот красивую шубку. Ты со мной не согласен?

— Моя мама никогда бы не напялила на себя убитых животных, — сказал я очень уверенно. — Она не такая бессовестная.

Дядька поднялся и снова взял меня за шиворот.

— Ну вот что. Мне это всё надоело, — сказал он. — У самого поди, молоко на губах не обсохло, а уже гляди-ка — обвиняет нас, что мы мучаем животных! Да если хочешь знать, парень, ты-то сам и есть первый мучитель. Эти твои лисенята, которых ты выпустил, они ведь здесь с рождения, они другой жизни не знают. Их никто не научил, как выжить на воле. И там они погибнут быстрее и более мучительной смертью, чем если б они остались в своей клетке. В лесу они просто-напросто не выживут, умрут голодной смертью. И в этом *ты* будешь виноват. Слышишь? *Ты*. И выходит, ты их не спас, а погубил.

Я не знал, что сказать. Я почувствовал, что сейчас заплачу. Неужели он был прав? Но разве не лучше хоть на минутку почувствовать волю, хоть денек вольно попрыгать на солнышке, подышать всеми запахами, даже если эта воля принесёт тебе гибель? Не лучше ли это, чем жить в тесной клетке и чтоб тебя умертвили другие?

Он всё ещё держал меня за шиворот.

— Сейчас мы позвоним в полицию, — сказал он. — Пусть забирают его. Иначе чёрта с два нам возместят убытки.

Тут он немножко разжал руку. Я быстро вытащил из кармана коробочку с нюхательным табаком, высыпал на

ладонь серый порошок и сдунул прямо ему в лицо. Если даже носороги с тиграми не выдерживали, то уж на лисьего-то фермера наверняка должно было подействовать.

Подействовало моментально!

Он схватился за лицо, нагнулся, потом откинулся и чихнул.

Этот дядька и вообще был мастер чихать — я это узнал ещё там, когда сидел в лисьей клетке. А уж тут что было. Прямо чихательный ураган! У него был просто талант к чиханию.

Я зажал нос и кинулся к двери. Никто даже не пробовал меня схватить.

В дверях я обернулся.

— Живодёр! — крикнул я.

Надо было поскорее удирать отсюда. Я был уверен, что они позвонят в полицию. Но напоследок я всё-таки задержался у вывески и достал красный фломастер, который взял с собой из дома.

«ЗВЕРОБОЙНЯ-ЖИВОДЕРНЯ БРАТЬЕВ ПЕРСОН НОРКИ — ЛИСЫ», — написал я сверху, прежде чем покинуть опасную зону.

Да, здорово я влип. Только полиции мне не хватало.

Надо было спасаться. Спасаться от погони. В любую минуту могли примчаться полицейские машины со своими воющими сиренами и мигалками на крыше и пустить по моему следу ищеек. На бегу я прихватил свой чемодан, который так и стоял около клеток с лисицами.

«Куда же бежать?» — думал я. На дорогу я боялся выйти, потому что мог там столкнуться с полицией. Я решил, что лучше пробираться лесом. Я бежал по извилистой тропке, которая шла через густой сосняк и иногда выходила на вырубки. Чтобы меня не догнали ищейки, я высыпал на тропинку за собой остатки нюхательного табака. Я представил себе, что будет,

когда они ткнутся своими чувствительными носами в едкий порошок и нюхнут его. Как они запрыгают и завертятся на месте, как будут чихать, и твякать, и отфыркиваться. После этого они уже, конечно, не смогут снова взять след, им уже не учуять слабого запаха десятилетнего мальчишки. Наверно, на целую неделю потеряют чутьё.

Мне повсюду чудились в лесу мои лисенята — вон мелькнуло что-то серое за сосной, а вон какая-то тень у валуна!

Неужели этот противный дядька был прав? Неужели лисенята и правда не сумеют выжить на воле? Не сумеют сами себя прокормить? Неужели они так испорчены неволей, так привыкли к ней, что погибнут, выйдя из своей клетки?

Может, и правда надо ещё сначала научиться, как жить на воле, быть самостоятельным?

Ну, а я? Я ведь теперь тоже вроде бы на воле? Сумею ли я прожить самостоятельно?

Про всё про это я думал, когда уже лёг передохнуть под большой сосной на пригорке. Мне надо было отдышаться. Порядочный кусок я пробежал бегом, чтобы поскорее оказаться подальше от зверофермы. Кроме того, я, конечно, не выпался в этом старом драндулете.

С пригорка видна была дорога внизу. Там пробегали машины. А в вышине надо мной проплывали тучи, похожие на серые льдины. Поднялся ветер, и стало холоднее. Я поплотнее закутался в свою куртку.

Я сам не заметил, как уснул. Мне приснилась Лотта. Будто она сидит на траве и жуёт травинку. Мы где-то в лесу. Она поднимает на меня глаза и смотрит, щурясь от солнца.

— Вот глупый, — говорит она. — Зачем-то уходишь от меня.

— Тебе куда?

Водитель высунулся из кабины своего автофургона. У него было круглое, розовое лицо. Кудрявые белёсые волосы торчали во все стороны — будто он наклеил себе на голову полкило бумажных обрезков.

Что мне было отвечать? Куда мне? Всё равно куда. Куда-нибудь подальше.

Вообще-то я боялся ехать на попутке: мало ли что. Но потом я всё-таки проголосовал. На своих двоих далеко не уедешь.

— Мне просто немного подъехать. В сторону Монголии или, например, Боливии, в общем, что-нибудь такое...

— Ну, тогда полезай, — с серьёзным видом кивнул мне водитель.

Я взобрался в кабину белого автофургона с синей надписью по бортам «ОБЪЕДИНЕНИЕ ОХЛАЖДЕНИЕ И ЗАМОРАЖИВАНИЕ». Водитель дал газ, мотор жалобно взревел, и машина рванула с места.

Водитель всматривался в дорогу, чуть не уткнувшись носом в стекло. Близорукий, подумал я. Отлично! Может, он меня и не разглядит как следует, и не опознает потом по фотографии, если меня будут разыскивать. Я забился поглубже в угол. Только бы он не начал расспрашивать, думал я. Я боялся, как бы себя не выдать. Я не очень-то умею врать, хотя врал вообще довольно часто. Некоторые здорово умеют врать. Стаффан, например. По нему никогда не скажешь, правду он говорит или нет.

Машина мчалась, будто на гонках. Водитель всё время пускался в самые рискованные обгоны, а сзади нам всё время сигналили «болельщики».

— Так, ещё одну прищёлкнули, — пробормотал он себе под нос. — Эти дорожные вши — сущее бедствие для движения. Ежегодно тысячи жертв дорожных катастроф. С ума сойти! Столько страданий, столько

горя. Не знаю, куда смотрит полиция. Давно бы пора с ними разделаться. Развели тут церемонии.

Водитель достал грязный носовой платок и высморкался. Он обошёл-таки чёрный «мерседес» и втиснулся в ряд, проскочив у него под самым радиатором.

— А ты что, не учишься, что ли, в школе? — спросил он меня.

— Не-а, — сказал я с запинкой. — Больше уж не учусь. Бросил. Меня никогда особенно не тянуло к учёбе. Меня больше тянет к практическому делу. И потом, надо же думать о зарплате. Я должен сам зарабатывать себе на хлеб.

— Это в твои-то годы! — вздохнул водитель. — Да, нелегко приходится в этой жизни. И сколько же тебе лет?

— Мне семнадцать, — ответил я, стараясь говорить басом.

— Семнадцать? — удивился он. — А я-то думал...

— Ну да, многие думают, что я гораздо моложе, — быстро вставил я. — Из-за того, что я маленького роста. Дело в том, что у меня такая болезнь, одна там железа неправильно работает, ну, знаешь, гормоны роста... Но это можно оперировать.

— Ах ты, бедняга, — сказал водитель и снова вытащил носовой платок и высморкался. — Надо же, какое несчастье! Да, бывает же так. И за что только судьба бьёт человека...

Мне было ужасно приятно, что он так сочувствует мне в моём несчастье, хоть оно и выдуманное. Мне так нужно было сейчас, чтоб меня утешили и пожалели.

— Вообще-то ничего страшного, — прибавил я. — Операция несложная. Разрезают немножко вот тут на шее. И потом убирают маленький кусочек этой самой железы. Только надо очень осторожно. Если убрать чуть побольше, человек сразу загноится. Люди у них вообще-

то дохнут как мухи. Один шанс из десяти, что всё сойдёт благополучно.

— О, господи! — дрожащим голосом выговорил водитель. — Сколько всяких несчастий на свете! Хоть бы всё сошло благополучно. Ни пуха тебе ни пера, парень. Я буду за тебя переживать. Это уж ты не сомневайся.

Слёзы градом катились по его румяным, пухлым щекам. Он вытирал их носовым платком. И проделывал такие трюки с обгонами, что я думал, мы вот-вот в кого-нибудь врежемся.

— А хуже всего то, — продолжал я уже без запинки (откуда что бралось!), — что в Швеции нет никого, кто сумел бы сделать такую операцию. Это очень тонкое дело — вырезать именно нужный кусочек, чтоб и не больше, и не меньше. Единственно, где это умеют делать — это в Италии.

— О, чёрт! — простонал водитель, и слёзы побежали ещё сильнее.

— Но загвоздка в том, — несло меня дальше, — что иметь большие деньги, чтоб попасть к этому итальянскому специалисту. Я думаю, не одну тысячу крон, считая проезд и всё остальное.

— Ну, а твои родители? — поинтересовался он.

— Я один на свете, — сказал я. — Ничего, всё как-нибудь устроится. Я привык всё делать самостоятельно. Вот только найти бы подходящую работку, чтобы можно было подкопить. Не надо только вешать носа — и всё всегда как-то устраивается.

— Господи ты боже мой, — всхлипывал водитель, сморкаясь в свой платок. — Это надо же. Храбрый ты парень. Что тут ещё скажешь. Представляю, если б с моим собственным ребёнком... Хотя у меня, само собой, нету никаких детей. Когда видишь, сколько кругом всяких несчастий, думаешь: слава богу, что нет у тебя детей.

Водитель, как видно, верил каждому моему слову. Да я уже, кажется, и сам себе поверил. Несколько слезинок капнуло у меня из глаз. Я смахнул их рукой.

— А, подумаешь! — сказал я храбро. — Ничего страшного. Трудность только в том, как устроиться на работу. С моим ростом это нелегко. Очень уж я молодо выгляжу. Мне это здорово мешает. Ведь на вид я и правда совсем еще младенец.

— Ну, я бы не сказал, — покачал головой водитель и покосился в мою сторону. — Если присмотреться, видно, что ты старше, чем выглядишь. В тебе заметна какая-то взрослость.

— Очень может быть, — сказал я. — Только кто это будет присматриваться, если придёшь просить работу. Нет, и точка. Попробуй им докажи. Одно равнодушие. Плевать они все хотели, соберу я деньги на эту операцию или не соберу. Моя судьба их не интересует. Это их не касается.

— Что правда, то правда, — вздохнул водитель. — Ни милосердия, ни сочувствия не найдёшь в этом мире. Но я, поверь, очень за тебя переживаю. Может, я могу хоть чем-то помочь? Меня так трогает твоё мужество.

Чтобы показать, как он растроган, он схватился за свой платок уже обеими руками. Когда он отпустил руль, машину занесло, и мы только чудом не столкнулись с каким-то прицепом.

— По-моему, тебе надо пойти на биржу труда и всё им там объяснить. Должны же они всё-таки войти в твоё положение.

Но мне уже расхотелось продолжать этот разговор. Я боялся, что я совсем запутаюсь и выдам себя. Я стал смотреть в боковое стекло. Поля и деревья так и мелькали. Мы подъезжали к какому-то городишке, замелькали маленькие коттеджики, тесно прижатые один к другому, с малюсенькими лужайками впереди.

Водитель вытащил из нагрудного кармана сигарету и прикурил от зажигалки, которая была вделана в приборную доску.

— Можно попросить у тебя сигаретку? — сказал я, чтоб он уж совсем не сомневался в моём возрасте.

— Да, конечно, извини, — сказал он и протянул мне пачку.

Я взял сигарету, прикурил и затянулся как следует. Едкий дым драл мне горло, как наждачная бумага. Меня затошнило. Я изо всех сил старался удержать кашель. Я не дышал. Но мне не удалось его задушить. Я закашлялся, я не мог остановиться.

— Что с тобой? — забеспокоился водитель.

— Горло, — просипел я и продолжал кашлять. Я схватился за горло и строил такие рожи, будто вот-вот помру.

— Болезнь, — попытался объяснить я. — Не могу дышать. Дым. Забыл. Мне надо. Воздух.

Наверное, получилось очень правдоподобно, потому что водитель так затормозил, что покрышки взвизгнули, а задняя машина чуть не врезалась в нас. Я кое-как выбрался из кабины вместе со своим чемоданом и еле-еле перевёл дух на свежем воздухе.

— Чем тебе помочь? — спросил водитель, испуганно глядя на моё, наверно, очень бледное лицо.

— Ничего, не беспокойся. Я уж как-нибудь сам. Сейчас всё пройдёт. Спасибо, что подвёз. Дальше я сам доберусь.

Я стоял, согнувшись чуть не пополам, и держался за горло. Водитель положил мне на плечо свою пухлую руку.

— Это точно, что тебе ничего не надо? Может, отвезти тебя больницу или позвонить врачу? Я буду очень рад хоть чем-то помочь.

— Точно, — сказал я. — Не бойся. Ничего страшного. А если я вдруг помру — у меня в кармане брюк есть

записка, я там написал, что я прошу высечь на моём памятнике. «Здесь покоится мальчик, который жил своим умом».

— Ну, тогда будь здоров, удачи тебе, — сказал он и высморкался. — Я буду за тебя переживать. Помни про это.

Тут он вынул десятку и отдал её мне — это был его взнос на операцию. Когда машина тронулась, он на прощание покивал мне из кабины.

«Так, — подумал я. — А что же дальше?»

Лотта, вот по кому я больше всего соскучился.

Оказалось, что убежать — это труднее, чем я думал. Нельзя убежать от самого себя, сказал тогда Стаффан. Ясно, нельзя. А Лотта ведь была частицей меня самого. Я бы дорого дал, чтобы услышать сейчас её рёв, — хотя вообще-то она редко плакала, — или увидеть, как она мчится под горку на своём велосипеде, держится за руль только одной рукой, а длинные волосы развеваются на ветру, или почувствовать рядом с собой в кровати её хрупкое, как у воробышка, тельце — она часто забиралась ко мне в кровать, чтобы рассказать какой-нибудь «страшный секрет».

Дал-то бы я, конечно, дорого, если б только было что дать. А в данный момент весь мой капитал составлял шестнадцать крон двадцать пять эре. Остальные деньги превратились в порцию котлет с картошкой и солёным огурцом в маленьком кафе с полосатыми шторами и толстой официанткой в этом незнакомом городишке.

Я совсем скис, когда подумал про Лотту. Девчонки в её возрасте обычно совсем ещё несмышлёныши, не лучше грудных младенцев, даже стыдно брать их куда-нибудь с собой. Это всем известно. Но Лотта была удивительно смышлёная девчонка. Она кого угодно умела развеселить. Стоило ей соорудить одну из своих рож — и плохого настроения как не бывало.

Да уж, наша Лотта была крупным специалистом по рожам. Она могла соорудить такую уморительную физиономию, что обхохочешься. А могла такое изобразить, что даже самая любящая мать отказалась бы признать в этом чудище своего ребёнка. Короче говоря, она была мастером прекрасного и трудного

искусства строить рожи. Вот если б, например, с ней так случилось, что пришлось бы убежать из дома — уж она-то всегда бы сумела заработать себе своими рожами на хлеб и сделалась бы знамени-той артисткой. Это уж точно.

Странно, что я раньше не понимал, до чего ж я к ней привязан. Да, Лотта была девчонка что надо, просто чудо, а не девочка, и мне стало так больно, когда я подумал, что никогда её больше не увижу. Котлеты казались мне безвкусными, как жвачка. Они будто пропитались моим унынием.

Но тут я сказал себе, что хватит распускать нюни. Я решил, что напишу ей — сообщу, что я жив-здоров, устроился неплохо, и в один прекрасный день явлюсь к ней, как добрый тролль, с карманами, полными подарков.

С этим решением я вышел из кафе и пошёл поглядеть, как тут у них с канцелярскими товарами. Городок был совсем крошечный. Посередине площадь, несколько магазинов и учреждений, за ними жилые коробки, за ними маленькие домики — вот и всё.

В общем, жутко скучное местечко. Я пошёл сначала поглазеть на витрины. Я остановился перед ювелирным магазинчиком и стал разглядывать обручальные кольца, подсвечники и разные другие побрякушки. Среди всей этой блестящей дребедени я заметил в самом уголке пару серёжек. Наверно, это была никакая вовсе не драгоценность, но мне они ужасно понравились. Они были сделаны в форме колокольчиков, ну, совсем как настоящие, с язычком и всё такое, и на тоненькой серебряной цепочке. Вот бы такие Лотте, подумал я.

— Сколько они стоят? Вон те? — спросил я продавщицу и показал на серёжки.

— Очень миленькие, не правда ли? — сказала продавщица и положила передо мной серёжки. Потом

подняла их двумя пальцами, и они тоненько звякнули.

— Да, правда, — сказал я. — А сколько они стоят?

— Они из мельхиора, — продолжала она. — Чудесный пода-рок для молодой дамы. Просто очаровательный.

— Да, — сказал я терпеливо. — Но они, может, не продаются?

— То есть как это? — сказала она удивлённо. — Само собой.

— Тогда скажите, пожалуйста, сколько они стоят, — настаивал я.

— Пятнадцать крон, — сказала она. — Это очень дёшево.

Я отсчитал пятнадцать крон мелочью и получил коробочку с серёжками. Потом я пошёл и купил бумагу для писем, конверт и марку. У меня осталось всего одна крона пятьдесят эре. Хочешь не хочешь, подумал я, а завтра надо будет подыскать себе работу. А то помру с голода. Я решил завтра же, прямо с утра, пойти на биржу труда. Мне вовсе не хотелось умирать голодной смертью.

Я присел на ступеньки у подъезда какого-то дома и сел сочинять письмо Лотте. Я долго думал, что бы мне такое написать. Я совсем не умел писать письма, у Лотты и то лучше получалось. В общем, я вот что написал:

Привет! У меня всё нормально. Никаких носорогов пока не видно. Как там наш Могиканин? Скоро я вернусь домой богачом. Я куплю тебе всё, что тебе только захочется. Оскару с Евой тоже что-нибудь подкину. Так уж и быть. Передай им, что я прекрасно могу жить и самостоятельно. Не ленись, упражняйся как следует в рожках, ты ведь у нас Королева Рож.

Может быть, я поеду в Африку или в Америку, искать счастья. Посылаю тебе на память серёжки из чистого мельхиора. А ещё БОЛЬШУЩИЙ ПРИВЕТ.

Петтер.

Я засунул письмо вместе с серёжками в конверт, заклеил, написал адрес моего бывшего дома и пошёл разыскивать почтовый ящик. В конверте, если потрясти, тоненько позвякивало. Автор этого письма — я, стало быть, — находился в тот момент ещё очень далеко от девственных лесов Африки и городских джунглей Америки, дорогу к которым он не знал, но где его ждали богатство и удача.

Отправив письмо Лотте, я побродил ещё немного по скучным улочкам этого скучного городишки.

Стало темнеть, и небо затянуло тучами. Похолодало. В воздухе было пока что тихо, но ветры уже затаились где-то за далёкими горами, точно хищники в засаде, приготовившиеся к прыжку.

Когда я поймал попутку, был уже вечер. Начался дождь. Он хлестал в переднее стекло кабины грузовика, где я сидел рядом с водителем, и «дворники» мотались как ненормальные, стараясь очистить от воды хоть небольшой кусочек.

Я слез у поворота. В этом месте по обеим сторонам дороги был густой лес. Дождь так и обрушился на меня, и я сразу промок до нитки. Ветер со свистом и улюлюканьем вылетел из своей засады, растрепал верхушки елей и, как голодный волк, с воем набросился на меня — я чувствовал его холодные когти и ледяное дыхание. Я весь трясся от холода. И вот ещё несчастье: я обнаружил, что потерял ключик от чемодана, куда

Стаффан сунул всякие вещи, совершенно необходимые беглецу.

Книга про съедобные грибы, карта Вестергётланда, даже пакет с сухим молоком — шут с ними. А вот дождевик был бы мне сейчас ой как нужен!

Я попытался ещё поймать попутку, но махнул рукой — безнадёжная затея в такой вечер. Мимо пронеслось несколько машин с зажжёнными фарами. Но никто, как видно, не жаждал подобрать промокшего мальчишку с запертым навечно чемоданом.

Ну что ж, значит, надо было искать какой-то ночлег, где бы не лило и не дуло. Промокший и продрогший, я зашёл в лес и побрёл по какой-то тропке. Я надеялся, что она выведет меня к какому-нибудь там амбару, сараю или брошенной старой машине.

В тот момент я бы, конечно, сдался без борьбы, если б только было кому. Я бросился бы на шею к Оскару и Еве, попросил бы за всё прощания и умолил бы, чтобы они меня не прогоняли. Выпить бы сейчас горячего молока, залезть в горячую ванну и улечься в тёплую постель — больше я ни о чём не мечтал. «Почему всё так получилось? — думал я. — Что же теперь со мной будет?»

Теперь я уже вовсе не был так уверен, что стану знаменитым путешественником-первооткрывателем, несметно богатым королём подтяжек, бельевых прищепок или жевательной резинки или хотя бы удачливым мальчиком-лифтёром в американском небоскрёбе.

Эта собачья погодка способна была вытряхнуть из человека всякую уверенность в себе. Я просто чуть не плакал — вернее, просто плакал. Мне было от чего плакать, я оплакивал самого себя, своё одиночество и своё пропащее будущее — горячие слёзы жалости к себе в этой промозглой сыри и слякоти. Мокрый, усталый и несчастный, тащился я по тропинкам в

тёмном лесу, полном таинственных звуков и шорохов. Наконец лес расступился, и я вышел на мощёную дорогу, загороженную какой-то жердиной. Я пролез под ней и пошёл дальше. Вдоль дороги лежали кучи битых кирпичей, заросшие сорняками. Мне попался убогий щелястый сарайчик, но я решил, что в нём от дождя не укроешься.

Потом я увидел воду — чёрное, как нефть, водное пространство, булькающее и шипящее под проливным дождём. У самого озера стояла заброшенная фабричная постройка с выбитыми окнами и высоченной трубой. Сбоку я увидел вывеску и прочёл, что это «ЧЕРНДАЛЬСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД», а внизу было приписано: «Посторонним вход воспрещён».

Посторонний не посторонний... плевать я хотел. Я решил посмотреть, нельзя ли здесь переночевать. Тащиться дальше просто не было сил.

Перед входом была глубокая канава, а через неё — мостик, Он прогнулся, некоторых досок не хватало, остальные были трухлявые. Я чуть не грохнулся, балансируя со своим чемоданом на скользких от дождя обломках. В другой руке у меня был фонарик, он бросал передо мной бледно-жёлтое пятно света.

Хорошо, что я захватил с собой фонарик, потому что внутри оказалось темно, как в погребе. Я стал пробираться по узкому проходу. У стен были сложены груды кирпичей. По земле проходили рельсы для вагонеток.

Я быстро отыскал подходящее место для ночёвки — пролез в какое-то полукруглое отверстие, что-то вроде входа в туннель. Потолок был такой низкий, что я не мог распрямиться. Я пристроился около кирпичной стены. Нашёл тут старые мешки и расстелил их на земляном полу. Ещё я нашёл какой-то инструмент вроде стамески, старую шляпу и длинную брезентовую

безрукавку. При помощи стамески и кирпича мне всё же удалось открыть чемодан.

Я стянул с себя мокрую одежду, вытерся рубашкой, которая не совсем промокла, и надел всё сухое из чемодана — кальсоны, трикотажную майку, шерстяные носки — и сказал спасибо предусмотрительному Стаффану. Под конец я нахлобучил на голову шляпу и засунул самого себя в безрукавку. Она была мне чуть не до пят. Кеды я сменил на сапоги с отрезанными голенищами, которые нашёл вместе со всем остальным.

Костюм, конечно, получился странноватый, зато мне было в нём тепло. Я лёг, натянул на себя мешки и, всё ещё дрожа от озноба, провалился в сон.

...Я проснулся, когда была ещё ночь. И услышал их голоса совсем рядом.

Сначала я вообще не мог понять, где я. Как я попал в этот сырой холодный погреб? Но потом я всё вспомнил.

Откуда тут могут быть люди, подумал я. Кому могло взбрести в голову прийти ночью на заброшенный кирпичный завод?

На другом конце туннеля замерцал слабый, колеблющийся свет. На тёмно-бурые кирпичные стены легли тени. Высоко-высоко над головой стучал по жести дождь, будто кто-то многорукий постукивал кончиками пальцев. Хлопнула от ветра дверь. Мне сделалось жутко. Во рту пересохло, а в животе была такая тяжесть, будто я проглотил кирпич.

Первая мысль была: бежать. Выскочить из своей норы прямо под дождь и ветер и скрыться в темноте. Я быстренько запихал свои вещички в чемодан и захлопнул крышку. Не очень-то приятно было вылезать в эту слякоть. Но ещё неприятнее — попасть в лапы злодеям.

Затравленный зверёныш, я был твёрдо уверен, что где-то совсем рядом со мной засела шайка разбойников

— картинки из комиксов и приключенческих книжек замелькали у меня в го-лове: квадратные дяди с чёрными усами и с кастетами в карманах, маленькие человечки с поднятыми воротниками, из которых выглядывают их хитренькие крысиные физиономии, лысые великаны, похожие на облезлых горилл.

Мне совсем не хотелось очутиться у них в лапах. Я на цыпочках стал продвигаться в темноте к выходу. Я боялся даже дышать. Ладонью я осторожно ощупывал шероховатую стену. Противно запахло чем-то едким. Я дрожал и от холода, и от страха.

Я выбрался боком из своей дыры и ткнулся во что-то мягкое, вроде как резиновое. Это был живот! Огромный, как подушка, мужской живот. Мы оба одинаково перепугались. Живот и я. Живот что-то пробурчал, а я так завопил, что эхо понеслось по всем закоулкам.

Первым очухался я. Прежде чем жирный дядька успел меня схватить, я рванулся и побежал. Дядька-то был мне не страшен. От него ничего не стоило убежать. Хуже то, что мой крик наверняка услышали другие. Я себя выдал.

Так и есть. Вот они и выросли передо мной — три тёмные тени. У стены я увидел в свете их фонариков целую батарею бутылок. Теперь я понял, чем они тут занимались по ночам — гнали самогон.

Кажется, они перепугались не меньше моего. Может быть, приняли меня в этом странном костюме за переодетого полицейского. На мне по-прежнему были сапоги, кальсоны, трикотажная майка, поношенная безрукавка чуть не до пят и такая же поношенная фетровая шляпа, сползавшая мне на глаза. В руке — дорожный чемодан Стаффана. Они направили на меня свои карманные фонарики.

— Эй, друг! — сказал один из них. — Постой-ка.

Неужели они думали, что я так легко сдамся?!
Никогда На земле валялись какие-то железные шары,

похожие на пушечные ядра. Я быстро нагнулся, схватил одну такую штуковину и швырнул её в батарею бутылок. Прямое попадание! Бутылки с дребезгом разлетелись на осколки. Этот взрыв будто раздался во мне самом — и тысячи острых осколков больно впились мне в тело. Будто я сам разбился.

— Вот вам! — заорал я. — И Оскару, и Еве, и всем вам, сволочам! К чёрту вас всех! Думаете, поймаете? Я вам не дамся! Ни за что!

Сам не знаю, почему я всё это орал. Что на меня нашло. Просто мне надо было выкричаться. Плача, я проскочил мимо них, а они от растерянности даже не попытались меня задержать.

— Эй, парень, куда ты? — крикнул кто-то из них. — Не бойся! Иди сюда! Вернись!

Но я бежал изо всех сил, лавируя между сложенными в кучи кирпичами и досками, между тачками и вагонетками, между какими-то ржавыми механизмами и огромными железными колёсами, обрывками троса, обломками рельсов и помятыми цинковыми вёдрами. Мне мерещилось, они бегут по пятам. Вот-вот схватят.

Не знаю, сколько я так бежал, не разбирая дороги, в смертельном ужасе. Но мне казалось, я бегу уже целую вечность, казалось, этому не будет конца. Я взбежал по узенькой винтовой лестнице на верхний этаж, здесь мне пришлось прыгать с доски на доску по неровному настилу. Свисавший откуда-то сверху обрывок широкого ремня хлестнул меня по лицу, и мелькнула мысль: всё, схватили!

Наконец я совсем выдохся. Я больше не мог. Уж лучше бы меня схватили — и всё. Я крадучись спустился снова вниз по винтовой лестнице и очутился в том самом проходе, который вёл к выходу. Я снова услышал их голоса. Я спрятался в одной из ниш в кирпичной

стене Здесь в углу лежала куча соломы. Я зарылся в неё. Через щель в стене я отчётливо слышал их голоса.

— Интересно бы знать, откуда здесь взялся этот мальчишка, — сказал один голос. — И чего он так перепугался?

— Понятно чего. Всякий бы умер со страху, наткнувшись на тебя ночью, — сказал второй голос.

— А что ему тут понадобилось ночью-то? — спросил первый. — Детям тут не место для ночёвки.

— Может, он это на пари с приятелями, — сказал третий голос. — Не случилось бы с ним чего, ещё сломает себе шею...

— Надо будет пойти поглядеть, — сказал второй голос. — Не удрал бы, как ненормальный, угостили б его чашечкой кофе с бутербродом.

Я лежал на соломе, свернувшись калачиком, как маленький ребёнок, и слушал эти неторопливые, спокойные голоса, и мне тоже стало хорошо и спокойно и захотелось спать. Выходит, я сам себя преследовал, мой собственный страх и моя вина гнались за мной по пятам, моя тревога мчалась за мной по следу, как полицейская ищейка. Я думал, что нельзя доверять ни единому человеку. Наверное, это и называют одиночеством?

Я, кажется, тут же и заснул.

Когда я проснулся, было уже утро. И ни дождя, ни ветра — полная тишина. Я увидел, что лежу закутанный в какое-то старое одеяло, рядом термос и пакет с бутербродами. А сверху клочок бумаги, на котором написано: «Завтрак подан, приятного аппетита. Ешь, а потом иди домой и оденься потеплее».

Я представлял, как они сидят сейчас все втроём за столом на кухне, и солнце уже заглядывает в окошко. Оскар берёт большой кусок хлеба и толсто намазывает маслом. Лотта прокладывает ложкой в каше всякие там

речки и долины. Ева, задумавшись, запускает пальцы в свою рыжую гриву. Часы тикают на стене, а рядом намалёванное Лоттой солнце протянуло свои жёлтые и красные лучи на тёмно-синем акварельном небе, но ему не дотянуться и не согреть меня, оно слишком далеко, где-то совсем в другом мире. А сам я в это время катил на дрезине к городу, который виднелся на той стороне озера. Эту проржавевшую ножную дрезину я нашёл около кирпичного завода.

Они сидели там сейчас за завтраком, и я видел их всех как живых. С силой нажимая на педали, я катил со скрипом по узким рельсам, где раньше, наверно, возили кирпич, и фальшиво насвистывал на мотив «И солнце твоё ясное, гляди, восходит вновь». А солнце и правда уже взошло и серебром сверкало на воде. Вокруг были луга, где паслись коровы, зеленые пространства, раскрашенные пёстрыми цветами, над которыми летали бабочки, шмели и осы. Листья деревьев умылись ночным дождём и стали ярче и зеленее. Слышно было, как в рощах поют и щебечут птицы, звонко, энергично и без передышки. В некоторых местах земля была вся изгрызена и разрыта — там, где прошли экскаваторы кирпичного завода. Старые кратеры с искусственными озёрами от дождя.

Бодро насвистывая, я изо всех сил жал на педали и со скрипом, с визгом катил на своей дрезине к городу и к бирже труда.

«БИРЖА ТРУДА» — написано было белыми буквами на тёмно-красном кирпичном фасаде нового здания, над которым светило ясное солнце.

Я поставил чемодан на землю, сдвинул шляпу на затылок и достал из безрукавки пакет с накладными усами, который заранее переложил туда из куртки. Для маскировки эти усы были просто незаменимы. Они были тёмно-рыжие, густые, обвислые и меняли лицо до неузнаваемости. Я пристроил их над верхней губой и посмотрелся, как в зеркало, в стеклянную дверь. Получилось здорово: передо мной стоял пожилой усатый мужчина в шляпе, в пальто без рукавов и кальсонах, человек, немало повидавший на своём веку, типичный сезонный рабочий. Опытный сезонный рабочий по имени Рудольф Вальстрем.

Я решительно открыл дверь и вошёл. Помещение было огромное, ещё бы — ведь за всякой работой сюда идут, а работ на свете масса. Вдоль одной стены шла длинная стойка, вся зава-ленная бумагами, а за ней копошились какие-то женщины, наверное, секретарши. Ещё здесь было несколько телефонных кабинок, столы с креслами и ящики с искусственными цветами. Народу было не очень много. Но все, кто были, все, как по команде, посмотрели на меня и заулыбались.

«Ну что ж, поглядите! — подумал я. — Поглядите на Рудольфа Вальстрема! Этот парень видал виды и знает, почём фунт лиха».

Этого самого Рудольфа Вальстрема я произвёл на свет, пока ехал на своей дрезине, снабдил его прошлым — работа, семья, надежды и разочарования, приключения и увлечения: кусочки жизни, взятые мной из книжек, разговоров и рассказов взрослых. Надо было

как следует подготовиться, это я усвоил у Стаффана. Халтура при подготовке дела недопустима. А то ещё не получишь никакой работы. А работа мне была во как нужна, потому что в кассе у меня оставалось всего одна крона пятьдесят эре.

Я набрался храбрости и подошёл к стойке.

— Здравствуйте, — сказал я хриловатым басом, каким должен был, как я себе представлял, разговаривать Рудольф Вальстрем. — Моё имя Рудольф Вальстрем. Я хотел бы устроиться на работу.

Секретарша улыбнулась и кивнула.

— Понятно, — сказала она приветливо. — А в качестве кого вы хотели бы работать? Полицейским, пожарником, машинистом на паровозе?

— Да как сказать, — пожал я плечами. — Это, в общем-то, не играет особой роли. Главное — мне хотелось бы сразу приступить к работе. А так мне, в общем-то, всё равно. Мне и то, и другое, и третье немного знакомо, приходилось, знаете ли...

— А сколько вам лет? — спросила она.

— Пятьдесят три, — ответил я. — Пятьдесят три года и шесть месяцев.

Я решил, что уж прибавлять, так прибавлять — уж если врать, надо врать по-крупному: человек сразу теряется, ему и в голову не приходит что-нибудь возразить. Секретарша и правда захлопала глазами, у неё стало такое лицо, будто она не знает, смеяться ей или злиться. Я и сам понимал, что мой маскарад не совсем убедителен. Она, наверное, подумала, что я смеюсь над ней, что это какая-то шутка. Надо было дать объяснения, чтобы убедить её.

— Я знаю, что я маловат ростом для своего возраста прохрипел я басом. — Дело в том, что у меня довольно редкая болезнь — недостаток гормонов роста. Но это никак не влияет на мою работоспособность. Можете мне поверить.

— Понятно, — сказала секретарша, у которой снова стало приветливое, улыбающееся лицо. — Я думаю, вам лучше всего поговорить с кем-нибудь из посредников по найму. Это на втором, этаже. Минутку, я сейчас позвоню, узнаю, кто из них может вас сейчас принять.

Она нажала на какие-то кнопки.

— Здесь у меня один господин, его зовут Рудольф Вальстрем, может он подняться к тебе?

Она сказала мне, чтоб я шёл на второй этаж, налево, и подождал в приёмной.

Я так и сделал. Комната, в которую я вошёл, была очень похожа на первую, только меньше. Я уселся в серое кресло из металлических трубок и пластмассы, взял какую-то брошюру про работу на молокозаводе и прочитал там: «Определённые сорта сыра покрываются парафином, после чего сыры складываются в специально отведённое для этого помещение, где через равные промежутки времени переворачиваются, пока не достигнут нужной степени зрелости». Когда я дошёл до этого места, по репродуктору вызвали Рудольфа Вальстрема и предложили ему пройти в комнату шестьдесят четыре.

Тётенька, которая приняла меня, сама была похожа на сыр. Такой большой круглый сыр в очках и с чёрными волосами, с зелёными точечками плесени на жёлтом платье — вполне созревший сыр.

— Чем я могу быть вам полезна? — спросила она.

— Мне нужна работа, — сказал я. — Я сейчас без работы. А мне надо содержать себя, жену и троих детей. Я не могу сидеть дома и смотреть, как они голодают. Это ужасно. Они всё худеют и худеют. Они уже начинают посматривать голодными глазами на кошку. Скоро они её, наверное, съедят, если я не раздобуду хоть немного денег.

— Да, положение неприятное, — сказала она участливо. — Может быть, вы расскажете немного, чем

вы занимались раньше и чем хотели бы заняться сейчас.

И я рассказал про Рудольфа Эрнста Теодора Иоганна Себастьяна Вальстрема: возраст пятьдесят три года и шесть месяцев, родился в местечке Дырбю в Вестергётланде (это название я отыскал на Стаффановой карте), в семье бедного крестьянина, в апреле, в день, когда всю картошку побилло градом; нежеланный ребёнок, который десяти лет ушёл из дома, кормился случайными заработками на хуторах, бродил от двора ко двору в откладывал по грошу. Потом Рудольф Вальстрем переехал в Америку и работал там мальчиком-лифтёром в небоскрёбе, на-доело, отправился на Аляску золотоискателем, там открыл богатейшие залежи, но был ограблен и уехал оттуда таким же бедняком, как приехал. Одно время работал на автомобильном заводе, отправился с экспедицией в Африку, где охотился на крупных хищников. Потом вернулся обратно в Швецию, женился и заимел детей. Здесь, на родине, он переворачивал сыры на молочном заводе, и работал на кирпичном заводе, пока завод не закрыли, и он не остался без работы. А теперь... теперь вот он сидит без работы и видит, как страдают его близкие. Сам-то он привык к лишениям, к голоду и болезням. Он болел и корью, и скарлатиной, и крапивницей, и малярией, и сонной болезнью, чем он только не болел. Но он не может спокойно смотреть, как его семья погибает в голоде и нищете.

Пока я рассказывал, тётенька всё время смотрела на меня. Она не улыбалась. Она смотрела на меня серьёзным, неподвижным взглядом. Рука с карандашом застыла в воздухе. А я всё говорил и говорил. Слова как-то сами находились, не надо было их искать. Сначала я говорил хриплым басом, который принадлежал Рудольфу Вальстрему, но постепенно голос прочистился, он становился всё тоньше и звонче и превратился в мой обыкновенный мальчишеский голос.

И когда я рассказывал про Рудольфа Вальстрема, то это уже был я сам, это я про самого себя рассказывал. А дочь Вальстрема превратилась в Лотту, у неё были Лоттины волосы, и лицо, и движения, и гримасы. И я начал всхлипывать, я искренне переживал, когда говорил про несчастья, которые постигли семью Вальстрема. Я лёг грудью на стол, уронил голову на скрещённые руки и зарыдал так, что весь затрясся. Я был как в жару, как в бреду.

— Им так плохо, — всхлипывал я. — Ох, как им плохо. Просто ужасно.

Я почувствовал, как её рука гладит меня по спине, которая вся тряслась. Потом рука погладила меня по волосам. Шляпа с меня давно свалилась, она лежала у меня под ногами и была похожа на огромный серо-бурый гриб.

— Ты говорил о самом себе, верно ведь? — сказала она своим спокойным голосом. — Сначала я не знала, что и думать. Честно говоря, я решила, что это какая-то шутка. Но теперь я понимаю, что тут дело серьёзное. Рудольфу Вальстрему и правда плохо. Но кто такой этот Рудольф Вальстрем? Ты пойми: чтобы я могла тебе помочь, ты должен рассказать мне всё как есть. Понимаешь?

Тут я услышал за окном птичий щебет. Рама была приподнята, а прямо под окном росла берёза, огромная, густая берёза, она вся трепетала на ветерке и отбрасывала тени на светло-серые обои, тени появлялись и исчезали, будто подмаргивали. Вдруг я увидел за стеклом птичку. Она будто застыла, распластавшись в золотом свете — вот-вот влетит. И я увидел, что у нее Лоттины глаза. Птица исчезла, но птичий щебет по-прежнему наполнял комнату.

— Что это за птица? — спросил я.

Я почувствовал у себя на лбу её руку, лёгкую, как птичье крыло.

— У тебя жар, — сказала она. — Ты болен. Скажи, как тебя зовут, мы поможем тебе добраться до дома, тебе надо лечь в постель.

— Я уж как-нибудь сам, — сказал я.

Я поднял шляпу и нахлобучил её на голову. Когда я встал со стула, я почувствовал, что ноги у меня как чужие. Мне надо было поскорее туда, к птицам. Отыскать ту птицу, у которой были Лоттины глаза. Она указала бы мне дорогу домой. Пойду прямо за ней, куда она полетит, — и приду домой, думал я.

— До свидания, — сказал я. — Мне тут недалеко. Совсем близко.

Она, видно, не знала, как ей поступить. Когда я повернулся, чтобы идти, она положила руку мне на плечо, но удерживать не стала.

Я быстро спустился по лестнице. Эта дурацкая слабость в ногах вроде бы прошла. Рудольф Вальстрем уходил с биржи труда, не получив работы, а вообще-то никакого Рудольфа Вальстрема больше не было, он просто перестал существовать, существовал только я и птичий щебет вокруг, и хотел я только одного — отыскать ту птицу, которая взглянула на меня Лоттинными глазами, посмотрела секундочку и исчезла в трепещущей листве облитой солнцем берёзы.

Я стоял, задрал голову, под огромной берёзой.

Над самой верхушкой я увидел краснокрылую птицу, она летала там кругами, круг за кругом. Может, это она и есть, подумал я. Птица ринулась косо вниз и полетела к городу. Я двинулся за ней.

Глупость, конечно, ужасная. У птиц не бывает глаз наших сестёр. Птицы — не какие-нибудь там добрые вестники, указывающие путь заблудившимся мальчишкам. А если они тычутся в оконное стекло, это говорит только об их глупости, а не о какой-то особой, таинственной мудрости. Но эта птица была для меня

всё равно что соломинка для утопающего. А я и правда был утопающий. Я остался без денег, без работы, и даже без надежды.

Куда она вела меня, эта удивительная птица?

Она то пропадала из виду, то вдруг снова появлялась. Я бежал за ней по улицам и, наверное, обежал полгорода.

И куда ж она меня привела? К уличному продавцу сосисок. Он пристроился со своими сосисками у стены дома, прямо под огромным рекламным плакатом, который нахально уверял, что на свете нет ничего прекраснее сливочного масла (если не считать любви). Продавец сосисок скармливал птицам одну из своих булочек. У ног этого доброго дядечки и приземлилась моя птица и стала клевать крошки.

— Клюйте, милые, клюйте, — приговаривал он.

Я подошёл поближе. У дядечки было симпатичное лицо с прищуренными голубыми глазками над сизым носом картошкой. Рядом стоял мопед с маленькой платформой для груза спереди: сосисочная на колёсах. Я вдохнул запах горячих сосисок и вдруг почувствовал, как мне хочется есть.

— Тебе сколько? — спросил он.

— Да у меня всего крона пятьдесят, — сказал я.

— Ничего, не горюй, — сказал он. — Я тебя угощаю. Бесплатно.

Он довольно захихикал, достал булочку, сосиски и щедро намазал горчицей и кетчупом. Я уплетал сосиски и смотрел на птицу, которая прыгала у моих ног и всё поглядывала на меня — честное слово, глаза у неё были похожи на Лоттины. Потом она взлетела и скрылась за церковной колокольней.

А потом я увидел полицейскую машину, она появилась из-за угла в конце улицы и стала медленно приближаться. У меня душа ушла в пятки. Может, это та тетенька с биржи труда позвонила в полицию? А что,

если меня разыскивают как беглеца? Может, полиция напала на мой след после того, как я выпустил лисенят? Надо было как-то спастись.

Странно, но весёлый продавец сосисок тоже почему-то перетрусил. Он глядел на чёрно-белую машину с мигалкой, как заяц на волка. Он быстро захлопнул крышку своего бачка с сосисками и привязал его крепче к платформе.

— Мне надо сматываться, да побыстрей, — сказал он.

— А можно мне с тобой? — попросил я. — Меня тоже разыскивают.

— Давай полезай, — сказал он. — Только держись крепче, а то вылетишь.

Я влез на платформу и примостился рядом с бачком, картонными коробками с булочками, горчицей и кетчупом, бидоном с водой и бутылью с бензином. Продавец сосисок натянул краги, надел мотоциклетные очки, которые вынул из своего белого халата, потом разогнал мопед и дал полный газ. Рывок, и мы понеслись. Мопед был, наверно, тренированный, он так нёсся по улицам, что я подпрыгивал на своей платформе и цеплялся изо всех сил, чтоб не вылететь. На поворотах мою «телегу» чуть не переворачивало, я съезжал как с горки и стучался о борт. Из бачка выплёскивался горячий отвар. Полиция нагоняла нас. Сирена выла, и мигалка мигала. Они были всё ближе.

— Эй, Сосиска, не подкачай! — заорал я.

— Швырни этим волкам сосисок! — крикнул он мне.

Я выхватил из горячей воды несколько сосисок и швырнул их на дорогу. Но полицейские и не подумали остановиться, чтобы подобрать их.

— Придётся пожертвовать большой коробкой! — крикнул он. — Швыряй за борт ту, что справа!

Я развязал ремни и столкнул коробку. Она с дребезгом грохнулась на асфальт, и по улице

растеклась жидкая каша из горчицы и кетчупа. Наши преследователи поскользнулись на этой жёлто-красной слякоти. Машину занесло, она потеряла управление и врезалась прямо в фонарный столб. А мы, не будь дураки, свернули в какой-то переулочек.

— Лихо, парень! — крикнул мне сосисочник. — Знай наших! Волки потеряли след!

Мы ещё покружили по переулочкам на окраине и въехали в огромный парк. Мы медленно ехали по дорожкам, посыпанным гравием, мимо огромных тополей и дубов, мимо пёстрых клумб с тюльпанами. Кругом были мягкие зелёные холмы и пригорки, пахло травой, и на все голоса пели птицы. Мы подъехали к одному такому пригорку и остановились.

Продавец сосисок взял меня за руку и повёл вверх по склону. Бачок с сосисками висел у него на животе. Мы молча дошагали до вершины и уселись на траве, а рядышком журчал и искрился на солнце ручей, совсем прозрачный, виден был каждый камушек на дне.

— Давай-ка отпразднуем наше спасение, — сказал он.

Мы валялись на траве и уплетали оставшиеся сосиски. Он рассказал мне, что уже пятнадцать лет продаёт на улицах сосиски, а сейчас вот уличную торговлю сосисками запретили. Но он не захотел бросать своё занятие, и поэтому к нему теперь вечно пристаёт полиция. А я рассказал ему про себя. В первый раз с тех пор, как я сбежал из дома, я не побоялся быть откровенным. Я лежал на спине, подставив лицо солнцу, и рассказывал про все свои приключения, и почему я сбежал, и как мне теперь плохо. И рассказал всё про своих — про Оскара, и Еву, и Лотту.

Он больше слушал, иногда только вставлял словечко. До чего ж здорово было поговорить с кем-то по-человечески, перестать притворяться и быть, наконец, самим собой.

— Ну что ж, парень, — сказал он, когда я кончил. — Я так понимаю, что самое главное для человека — суметь быть самим собой. Я, знаешь ли, много про это думал. Возьми меня, к примеру. Кто я такой? Уличный продавец сосисок. И это занятие как раз по мне. А кто бы я был без этого — так, пустое место. А тебе вот, наоборот, не вмоготу продолжать это твоё занятие, потому что всё время приходится строить из себя кого-то другого. По-моему, пора тебе кончать это дело. Возвращайся-ка ты домой, придётся воевать — так вой. А то куда ж это годится? Нельзя просто взять да отрубить всё, что было. Это что же из тебя такое получится: обрубок, а не человек. Соображаешь?

Да я уж и сам сообразил, что надо мне возвращаться к своим. Честно говоря, давно сообразил. Всё равно я таскал их всех за собой, и деваться мне от них было некуда.

Я, наверное, сам не заметил, как заснул на припёке. Помнило только, что будто тёплая рука прикрыла мне глаза. Последнее, что я видел, это краснокрылую птицу, которая парила высоко в голубом небе, где медленно растворялись и исчезали белые облака.

Когда я снова открыл глаза, около нас стояли два полицейских. Нам пришлось собрать свои вещички и ехать с ними в участок. Там они спросили меня, как моё имя, кто мои родители, адрес и номер телефона. Ни про каких лисиц они не спрашивали. Они позвонили к нам домой и объяснили, где я нахожусь. Весёлого продавца сосисок я так больше никогда и не видел. Я улёгся у них на скамейку и сразу почувствовал, что весь горю, как в огне. Я был мокрый от пота, и в то же время меня так знобило, что зуб на зуб не попадал.

За мной приехал Оскар. Помню, что он нёс меня на руках, как маленького. Моя голова лежала у него на плече. Он держал меня очень крепко, будто боялся

уронить. Во мне пылал какой-то холодный огонь, от которого меня трясло. Мы почему-то не могли ничего сказать друг другу, хотя ему, наверное, тоже хотелось. Мы были оба как немые. Он уложил меня на заднее сиденье нашего «деда» и укрыл одеялом. И не сразу отошёл. Я увидел, что он смотрит на меня жалобными глазами, будто просит о помощи. Потом он наклонился и сжал в ладонях мою голову, будто это футбольный мяч.

— Ребёнок ты мой, — сказал он. — Милый мой ребёнок.

И больше он ничего не сказал. Потом мы поехали. Я открывал глаза и видел перед собой его крепкий затылок. Он вёл машину на большой скорости, и мне казалось, что мы будем ехать так вечно и никогда не приедем. А потом шум машины превратился в пение птиц, в целый хор щебечущих птиц.

Мне много чего хотелось сказать. Но я стал немым. Я заболел, и у меня была высокая температура, и озноб, и бред. Но хуже всего, что я не мог выдать из себя ни звука. Я открывал рот, как рыба, а голос куда-то пропал. В голове у меня теснилась масса слов, и все они хотели выскочить наружу, а горло мне заткнуло будто пробкой, я никак не мог её вытолкнуть, эту чёртову пробку.

Я разговаривал на своём немом языке с немymi рыбами. Может, они меня понимали. Оскар купил мне аквариум и поставил на стул рядом с кроватью. Я смотрел, как в вечнозелёной воде, над подводными скалами с шевелящимся лесом водорослей, плавала, изгибаясь, вуалехвостка в окружении гуппий, меченосцев и других красивых рыбок. Я лежал в своём немом мире и следил глазами за рыбками. Я помню, как около меня на кровати сидел Оскар, или Ева, или Лотта, и помню их встревоженные лица. Помню, как пришёл врач, как он осматривал меня и сказал: «Не вижу никакой органической причины его немoty».

Всё вокруг было какое-то нереальное. Я видел и слышал всё будто через стекло, будто находился в стеклянной клетке. Эта комната с жёлтыми обоями была будто и не комната вовсе, а огромный аквариум. Может, всё это от высокой температуры? Я по-прежнему чувствовал в себе ледяное пламя. Одна только огненно-красная птица могла бы устоять перед его голубоватыми ледяными языками.

Но я начал не с того. Сначала надо бы не про то, как я болел и как я стал немым. И не про тот странный сон, и не про птицу, и не про «Книгу Рож». Начать надо бы с

того вечера, когда я вернулся домой. Онемел я уже потом. И всё остальное случилось потом.

Я не знаю, сколько мы ехали, пока доехали до нашей улицы, и наш «дед» вскарабкался наверх и свернул к нашему дому.

Лотта кинулась к машине и ещё на ходу открыла дверцу. «Динь-динь-динь», тоненько позвякивали серебряные колокольчики. Плакала она или смеялась? А со мной творилось что-то непонятное, я, кажется, чуть не разревелся, когда увидел её, а на ней эти старинные серёжки, и услышал это тоненькое позвякивание. Она подпрыгнула и повисла у меня на шее.

— Ой, Петтер! — затараторила она. — Противный Петтер как я по тебе соскучилась. Плохой нехороший противный гадкий Петтер никогда никогда больше не убегай от нас. Скажи что больше не будешь скажи скажи а то я тебя убью до смерти.

И она стала бить меня кулачками в грудь, чтобы показать, как она будет убивать меня до смерти. По щекам у неё катились слёзы, и она слизывала их кончиком языка. Она молотила и молотила изо всех сил, и мне это было ужасно приятно. Я потянул её за собой и повалил на заднее сиденье.

— Сдаюсь! — сказал я. — Больше не буду. Честно.

Я крепко держал её. Но она была очень сильная для такой маленькой девочки. Она вывернулась и попробовала положить меня на обе лопатки. Мы барахтались и боролись. Тут она принялась меня щекотать, а я стал хохотать. Она тоже хохотала.

— Кончай! — крикнул я. — Ой, не могу! Сейчас умру! Но она уже перестала. А мы все хохотали. Мы хохотали просто потому, что мы опять вместе.

Я любил её. Я любил её клоунскую мордашку. И любил даже самые ужасные её рожи — может, просто по детской дурости? Когда я так говорю, получается

какая-то слюнявая чушь. Но она правда была удивительная девчонка. Просто чудо, а не девчонка. Они мне потом рассказали, что эта дурёха, когда узнала, что я сбежал, собрала свои вещички и хотела уже бежать за мной. Когда её не пустили, она стала брыкаться, и лягаться, и вырываться, и кричала, что она *всё равно* пойдёт меня разыскивать. Наверное, именно в таких случаях говорят, что хочется провалиться сквозь землю.

— Хорошо, что ты не поехал в свою Америку и не сделался миллионером, — сказала она. — А знаешь, я выучила новые рожи. Хочешь, покажу?

Так. Что же было дальше? Заболел я по-настоящему только ночью. Хотя, когда вылез из машины, ноги у меня дрожали. Я поплёлся к дому, и Ева поддерживала меня. Лотта нахлобучила ту дурацкую шляпу, которую я нашёл на кирпичном заводе, и прыгала и скакала как ненормальная. Оскар даже стал злиться и прикрикнул на неё.

По-моему, меня никогда в жизни столько не обнимали, как в тот вечер. Все меня обнимали. Совсем замучили. Ева приготовила мне горячую ванну. Во мне по-прежнему сидел этот самый холод, и он ещё нескоро из меня вышел. Когда я погрузился в горячую воду, мне показалось, я вот-вот растаю, как льдышка. Ева намылила меня, и я бултыхался в пене, как Последний-из-Могикан в тот раз, когда мы решили его вымыть, чтоб поселить у нас в доме.

Потом я ещё долго лежал в горячей воде и ждал, чтобы тепло проникло сквозь кожу и растопило этот дурацкий ледяной столб внутри. Оскар и Ева сидели рядом на краю ванны.

— Мы тут много чего передумали, пока тебя не было, — сказал Оскар. — Мы, по-моему, поняли, почему ты сбежал. Ты чувствовал, что раздражаешь нас, мешаешь нам. Верно ведь? Но, как говорится, нет худа

без добра. Если б ты не сбежал, так бы, наверное, всё и продолжалось. А когда ты сбежал, нам пришлось крепко задуматься. Разве не странно, что задумываться начинаешь только тогда, когда припрёт? Ты должен помнить, что мы тебя любим и всегда любили, как бы ни вели себя. А вели мы себя, прямо скажем, неважно. Страшно вспомнить, сколько мы обижали друг друга. Но ведь говорить про свои чувства очень трудно. Гораздо легче молчать. И в конце концов получается так, что вроде бы и чувств никаких нету.

Я видел, что он очень старается откровенно всё высказать. Он не только для меня говорил, но как бы и разговаривал сам с собой.

— Иногда, знаешь ли, хочется, — продолжал он, — чтоб можно было понимать и чувствовать друг друга прямо так, без слов. Очень уж трудно их говорить, всякие такие слова... И как это всё получилось? Когда началось? Что такое произошло? Мы вроде как окаменели. Чужь какая-то! Сам ведь видишь, что всё идёт вкривь и вкось, а сделать почему-то ничего не можешь. Сидишь сложа руки и ждёшь, пока всё не рухнет к чёртовой матери. Понимаешь, когда ты сбежал, было такое чувство, будто образовалась какая-то пропасть, какая-то жуткая пустота. И вот мы с Евой сидели в этой пустоте и всё говорили и говорили. И у нас было одинаковое чувство. Будто мы не только тебя разыскиваем, но и самих себя тоже. И не найдём тебя до тех пор, пока сами себя не отыщем. И нам это, по моему, удалось, ну, может, не до конца...

Он посмотрел на Еву и улыбнулся. Я видел её сквозь завесу пара. Под мышками у неё были тёмные круги. Рыжие волосы свисали влажными космами. Я понимал, да, я понимал, про что говорит Оскар, хотя в голове у меня стоял какой-то туман.

— Ты думал, мы тебя не любим, — сказала Ева. — И может, правильно думал. Мы вроде как вообще никого и

ничего не любили. Ни самих себя, ни других. Мы потихоньку превращались, в каких-то бесчувственных истуканов. Мы вот тут с Оскаром говорили, что во всём эта проклятая работа виновата, что отделить семью от работы никак не получается. От того, как человек чувствует себя на работе, зависит, и какой он дома. Если ему у на работе очень уж плохо, то дома, в конце концов, тоже будет ад. Не знаю, можешь ли ты понять, что это такое — изо дня в день стоять и делать одно и то же движение, одно и то же, одно и то же, пока совсем не отупеешь. А шум и грохот вокруг такой, что голова раскалывается. Если хочешь что-то кому-то сказать, надо кричать изо всех сил, иначе не услышат. И люди вообще перестают разговаривать. Все молчат, только машины орут. Есть такое слово «эксплуатация» — знаешь, что это такое? Мы вот с Оскаром на себе почувствовали. Это когда у тебя всё отбирают — твой собственный голос, твои чувства, мысли, волю, твой труд. Высасывают тебя так, что остаётся одна только скорлупа. И ты уже ничего не можешь, не остаётся сил даже на своих собственных детей.

Я слушал. У Евы был теперь другой голос, чем раньше. И у Оскара тоже. Они высказывали то, про что думали и говорили, пока меня здесь не было. И будто в ванне сидел не я один, а целая масса людей, которым они хотели всё это сказать. Это что-то важное, подумал я. Тепло пробиралось мне под кожу и оттесняло синий холод внутри.

— Это было ужасно, — сказал Оскар. — Живёшь как автомат, и никакого просвета впереди. Домой приходишь до того усталый, что хочется лечь и умереть. Не просто физическая усталость, а общая усталость, которая, кажется, никогда не пройдёт, спи хоть месяц. Я сам себе был противен. Самому противно было слушать свой сварливый голос. Но я ничего не мог

с собой поделать. Ну, сейчас-то мы вроде очухались. Ничего, мы ещё за себя повоюем!

Оскар вытащил меня из ванны. Рубашка у него вся намочена, но он даже не заметил. Он вытер меня и отнёс в постель. Потом они с Евой сидели рядом со мной на кровати. Есть я отказался, после тех сосисок я уже не мог бы проглотить больше ни кусочка. Они гладили мой лоб, который пылал от того холодного огня внутри. Я чувствовал тепло, но оно было где-то снаружи и не могло растопить лёд. Я весь дрожал под двумя одеялами.

Ева обняла меня, и я прижался к ней и чувствовал на своей замороженной щеке её тёплое дыхание. Они так много сказали мне. Теперь всё изменилось. Я-то думал, что всё это было из-за меня, что это я во всём виноват. Я вообразил, что я им не нужен, что они жалеют, что я вообще родился. Теперь мне надо было родиться заново. Я прижался к Еве крепко-крепко, будто хотел растаять, раствориться в ней, чтобы родиться снова.

Не так-то просто родиться, когда тебе уже десять лет. Это и долго, и больно. В ту ночь я и разболелся. У меня была высокая температура и бред. Не знаю, сколько времени я пролежал в забытии, всё перепуталось, я не различал дня и ночи, не узнавал людей. И я всё время был мокрый от пота, мне всё время меняли пижаму и простыни.

Из того, что мне привиделось тогда в бреду, я помню не всё. Сначала, кажется, это было что-то из детства: домик на Зелёном мысу, валуны, и зеленые луга, и речушка, а дальше море.

Начиная с моря, я уже всё помню.

Будто мы идём по замёрзшему морю. Льдины, а под ними чёрная вода. Уже вечер, воет ветер и метёт снег. Над нами светит холодная луна, и мы очень спешим. Оскар, Ева и Лотта впереди. А я бегу, чтобы догнать их. Вдруг — крак! — лёд трескается, трещина передо мной быстро расширяется, а там бурлит чёрная вода с белой пеной. Оскар протягивает мне руку, но я не могу дотянуться. Они медленно отплывают от меня. Как сейчас, помню эту протянутую руку и расширенные от страха глаза Лотты. Они исчезают в белой пурге. А я один на льдине, и мне очень холодно. Я плачу, слёзы замерзают и маленькими льдинками падают с хрупким звоном на тёмную ледяную корку.

Их куда-то уносит, а я остаюсь один. Что же делать? Надо спасаться! Я иду наугад, сам не знаю куда, то ли к берегу, то ли к открытому морю. Я вхожу в густой тёмный еловый лес и вижу заброшенную охотничью избушку. Только что была зима — и вдруг сразу весна: распускаются подснежники, мать-и-мачеха, листочки на рябинах и берёзах и пригревает солнце.

Тут прилетает огненно-красная птица. Она садится мне на руку и смотрит на меня Лоттиными глазами. Я иду за ней. Она летит впереди и указывает дорогу. Я иду и иду, через леса, болота, мимо озёр, через горы, и нигде ни одного человека.

Птица приводит меня к какому-то зданию, похожему на заброшенный кирпичный завод. Она вводит меня туда через задний вход. Внутри ледяной холод. На стенах сверкающие кристаллы льда, а на стёклах иней. Вдоль коридоров сложены кучи кирпичей изо льда.

Господи, как мне холодно! Я вхожу вслед за птицей в какие-то огромные залы. Здесь всюду копошатся странные существа. Некоторые — полулисицы, полулюди. Головы у них лисьи, а тела человечьи. Все одеты в одинаковые серые комбинезоны. А вдруг здесь Оскар, Ева и Лотта? Я кричу, кричу изо всех сил. Но моего голоса не слышно из-за пронзительного звона и треска бьющихся вдребезги ледяных кристаллов, которые раскалываются, сталкиваясь друг с другом. Голова у меня тоже раскалывается. Руки у меня посинели от холода.

Я тычусь в разные стороны, проталкиваюсь вперёд, пытаюсь высмотреть своих. Никто не обращает на меня никакого внимания. Они продолжают грузить в вагонетки свои кирпичи изо льда. Они распиливают глыбы льда на куски в форме кирпичей, и ледяные стружки разлетаются, как осколки стекла. Глаза у них у всех будто стеклянные, и двигаются они как заводные. То и дело с потолка падает сосулька и разбивается со звоном.

Я подхожу к огромной печке. Там стоит старушка, волосы у неё белые как изморозь.

«Ты кого-нибудь ищешь?» — спрашивает она.

«Я ищу Оскара, Еву и Лотту, — говорю я. — Вы знаете, где они?»

«Здесь не существует никаких имён, — говорит она. — Здесь не существует никаких чувств, никаких мыслей и никаких воспоминаний. Здесь все заморожены, как бройлеры. Это Замок Бесчувствия».

«Откуда здесь такой ужасный холод? — спрашиваю я. — Прямо кровь стынет».

«Видишь эту вот печь? — говорит она. — Огонь в ней — холодное пламя. Чем больше топишь, тем холоднее».

Я заглядываю в печь. Свет ослепляет меня. Голубоватые языки пламени звонко потрескивают, будто лопаются и бьётся стекло. Их блеск так режет глаза и от них веет таким холодом, что я отшатываюсь и заслоняю лицо руками.

«Неужели нельзя вырваться отсюда на волю? — спрашиваю я. — Неужели никак нельзя освободиться?»

«Здесь не знают, что такое свобода», — говорит она.

Я отхожу от этой печки и от старухи с белыми волосами и иду дальше. Я взбираюсь по обледеневшим ступенькам какой-то лестницы на второй этаж. Холод проникает ко мне вовнутрь, доходит до самого сердца. От ледяной пыли больно дышать. Я бью себя с размаху руками, чтобы согреться, но это не помогает. Руки и ноги как отмороженные. Я протискиваюсь между этими странными существами, которые с безразличными лицами занимаются своим делом. Что же мне предпринять?

И вдруг — вон же они! Я вижу Оскара, Еву и Лотту. В самом дальнем углу. Они складывают куски льда на тачку. Они тоже двигаются как заводные. Я бегу к ним. Пол засыпан снегом, и я, поскользнувшись, падаю, но мне помогает подняться какой-то человек, похожий на моего знакомого продавца сосисок.

Я подбегаю к ним, но они меня будто и не узнают.

«Вы что, не узнаете меня? — кричу я. — Это же я, Петтер!» Они смотрят на меня, и глаза у них такие,

будто они сделаны из стекла или же покрыты ледяной плёнкой. А лица у них как в белой пудре, кожа без единой морщинки — будто маска из фарфора или же целлулоида. Потом в глазах у них мелькает смутная тень, они будто силятся что-то вспомнить. Они пристально смотрят на меня. Оскар медленно качает головой. Лотта не отрывает от меня глаз. И Ева тоже.

«Это же я, я! — говорю я. — Постарайтесь меня узнать! Постарайтесь! Иначе вы пропали».

И тут вдруг — бим-бом! — раздаётся удар колокола, торжественный звон плывёт над залом и заглушает все другие звуки. Я поднимаю голову и вижу под балками потолка огненно-красную птицу. Она взмахивает крыльями и падает на пол как подстреленная. Все оставляют свои дела и начинают медленно двигаться в одном направлении, будто околдованные этим звоном. Оскар, Ева и Лотта тоже вроде собираются идти за другими.

Я становлюсь у них на пути.

«Не уходите от меня! — кричу я. — Пожалуйста, не бросайте меня!»

Они останавливаются. Но им, видно, стоило таких усилий не послушаться зова колокола, что они в изнеможении садятся прямо на пол. Я наклоняюсь к Лотте и беру её милую мордашку в свои ладони. Ладони мне обжигает, будто я прикоснулся на морозе к железу. Я стою около неё на коленях и дышу ей в лицо. Ледяная плёнка на её глазах и на лице медленно тает. Ледяной воздух обжигает мне горло и лёгкие. Вот дрогнул уголок рта — слава богу! И я всё дышу и дышу на неё, хотя горло у меня болит всё сильнее.

Лоттино лицо медленно оттаивает — так тает весной снег. Застывшее выражение исчезает. Растаявший лёд течёт по щекам, как слёзы. Кожа розовеет, оживает. Я начинаю оттирать ей руки, ноги,

тру изо всех сил. Она поднимает руки и обнимает меня за шею.

«Ой, Петтер, — говорит она тоненьким голосом. — Где это я? Мне так холодно».

«Тише, — шепчу я. — Не говори так громко. Ты в Замке Бесчувствия. Я уж думал, мне тебя не оживить. Ну, как ты себя чувствуешь?»

«Сама не пойму. Здесь так холодно. Будто я долго-долго спала и видела страшные сны. А какой сейчас месяц?»

«По-моему, сейчас май, — говорю я. — А теперь давай-ка помоги мне оживить Оскара с Евой. Они тоже совсем замороженные».

Лотта кое-как встаёт и, пошатываясь, подходит к Оскару А я вожусь с Евой. Евины рыжие волосы на вид такие хрупкие и ломкие, что я боюсь до них дотронуться. Горло у меня болит просто ужасно. Мне всё труднее дышать. Там будто застрял ледяной комок.

Наконец, она всё-таки оживает. Она смотрит на меня своими обычными глазами и улыбается.

«А, Петтер, — говорит она. — Что, уже утро? Ты чего так рано вскочил? Будильник ещё не звонил. Ложись ещё поспи».

Но тут она удивлённо оглядывается вокруг.

«Не пугайся, — говорю я. — Ты в Замке Бесчувствия. Уж как вы сюда попали — не знаю. Но теперь нам надо выбираться отсюда».

Оскар, я слышу, тоже приходит в себя. Мы все крадёмся тихонько к лестнице и осторожно спускаемся по обледенелым ступенькам. Оскар держит меня за руку. Мы идём по пустому залу, вокруг никого. Стараясь не дышать, мы пробегаем мимо пылающей холодом печи. Огненно-красную птицу, которая привела меня сюда, я осторожно держу в ладонях.

Мы выходим на улицу и окунаемся в туман, как в мягкую, влажную вату. Мы оглядываемся — Замок

Бесчувствия исчез, будто его и не бывало. Птица расправляет крылья, взлетает с моей ладони, ныряет красной точкой в туман и пропадает. Всё исчезает. Только ледяной комок у меня в горле. И рука Оскара.

Когда я очнулся от этого бреда, Оскар сидел рядом на кровати и держал меня за руку. Я открыл было рот, но не мог сказать ни слова. Голос замёрз у меня в глотке. Оскар положил мне руку на лоб. Я снова куда-то провалился, и снова начались бредовые видения. Иногда я открывал глаза и видел рядом фигуры людей — Оскара, Еву, Лотту, а ещё, по-моему, появлялись Стаффан и Бродяга. Я запомнил врача. Помню, что меня испугал его белый халат. Он был будто из того кошмара, как безжизненный, застывший, чистый снег. Я хотел закричать, но не мог. А потом, когда температура у меня уже упала и я днём почти не спал, пришёл другой врач. Он ковырялся у меня в горле, совал туда маленькую лампочку на шнуре и заглядывал внутрь. Меня чуть не вырвало. Но ледяная пробка всё равно не выскочила.

Они все нервничали и суетились вокруг меня. Я видел их тревожные глаза, слышал беспокойные голоса. *«Не беспокойтесь, — написал я на бумажке. — Лёд скоро растает. Скоро я снова смогу говорить»*. Они, наверное, ничего не поняли. И продолжали суетиться и нервничать.

Я, наверное, дня два лежал немой. Ну, то есть уже после того, как температура у меня снизилась и я почувствовал себя лучше. А вернула мне голос Лотта. Может, он и так бы вернулся, но хорошо, что именно она помогла мне заговорить, а не какой-то там врач в своём белом халате, со своими блестящими инструментами и дурацкими лампочками.

Она вошла ко мне с таким таинственным видом, что я сразу понял, что меня ждёт сюрприз. Она подошла к

моей кровати, держа руки за спиной.

— В какой руке? — хихикнула она.

Я показал на её левую руку, и она протянула мне пакет в красивой обёрточной бумаге. «*Моему немому брату от Королевы Рож*» было написано на пакете. Я развернул бумагу и увидел книжку с завлекательным названием: «Большая Книга Рож». Лотта с нетерпением смотрела на меня — как мне понравится? Я открыл книгу, там были сплошные фотографии, как в альбоме. Такие фотографии выдаёт фотоавтомат.

Фотографии она наклеила на листы бумаги и сшила их, как сшивают тетрадь. И под каждой сделала подпись, например: «адская рожа», «дурацкая рожа», «лимонадная рожа», «дедушкина рожа», «несчастливая-разнесчастливая рожа» «очень гордая рожа» и так далее. Целый фотоальбом рож, одна удивительнее другой. Лотта наклонилась надо мной, тыкала пальчиком и щебетала.

— Видишь, сколько я тренировалась? — сказала она. — Погляди вот на эту. «Невозможно кислая рожа». Здорово, да?

Как она это делала? Просто непонятно, как ей удавалось вытворять такое со своим хорошеньким личиком. Представить невозможно. Ну, просто обхохочешься. На этой фотографии лицо было такое всё сморщенное и перекошенное, будто она проглотила сразу десяток лимонов с уксусом, будто у неё изжога и будто она целую неделю подряд вставала с левой ноги. Я почувствовал, как смех забурлил у меня в животе, поднялся к горлу, проскочил и вырвался наружу каким-то вороньим карканьем. Я смеялся. Я сам слышал, как я смеялся.

— Ты слышишь? — крикнул я, продолжая хохотать. — Слышишь, что я смеюсь? Слышишь, что я снова могу говорить?

Я слез с кровати, схватил Лотту в охапку и закружил ее в танце, хотя ноги у меня дрожали и подгибались. Мы с ней крутились по комнате, как пьяные, пока у меня не закружилась голова. Мне пришлось сесть.

Лотта бросилась на кухню, где сидели Оскар с Евой.

— Петтер говорит! — услышал я её крик. — Петтер может говорить, и он совсем одурел!

Оскар с Евой вбежали в комнату. У Оскара в руке был бутерброд с ветчиной.

— Это правда? — спросил он странным, сдавленным голосом. — Правда, что ты можешь говорить?

Я молчал, я плотно сжал рот, я чувствовал, что сейчас лопну от радости. Но мне хотелось их немножко помучить. Я наслаждался их нетерпением.

— Петтер! — жалобно попросила Ева. — Бога ради, скажи что-нибудь! Петтер, миленький, ну не мучай нас. Ты действительно снова можешь говорить?

— Он просто дурака валяет, — сказала Лотта. — Я ж говорила, что он совсем одурел. Это он из вредности молчит. А ну, говори, баран упрямый!

— Бе-е-е! — проблеял я. — Ага, испугались?

Они вздрогнули. Но не похоже, чтоб особенно испугались.

Ева бросилась меня обнимать. Оскар сгрёб меня в охапку и подбросил в воздух. Про бутерброд он совсем забыл. И раздавил его об мою спину.

— А это что такое? — сказал он, поглядев на расплющенный бутерброд у себя в руке.

Он рассмеялся и зашвырнул его прямо в потолок.

Вечером, перед сном, Оскар пришёл и сел ко мне на кровать.

Сначала он молчал. Я тоже молчал. Теперь, когда голос ко мне вернулся, слова были вроде и ни к чему. Рядом у меня был аквариум с немymi рыбами и мой деревянный поросёнок, тоже неговорящий. Лотта

сидела перед зеркалом и усердно разучивала новую рожу под названием «очень-преочень радостная рожа».

В ногах кровати стоял подводный бинокль, который мы со Стаффаном когда-то смастерили. Оскар поглядел на него и задумался.

— Петтер, — сказал он.

— Ну? — сказал я.

— Помнишь, я как-то говорил, что надо бы нам съездить на рыбалку? Ты помнишь?

— Ага, — сказал я.

— Так и не получилось, — сказал он.

— Ага, — сказал я.

— А вы со Стаффаном ещё подводный бинокль тогда смастерили. И напустили целую ванну головастиков. Помнишь?

— Ага, — сказал я.

— Я вот подумал, а почему бы нам теперь не съездить? На рыбалку-то.

— Ага, — сказал я.

— Вот только поправишься, — сказал он. — Можно будет всех прихватить, и Еву, и Лотту, и Стаффана, и Бродягу.

— Ага, — сказал я.

— И вашего Могиканина тоже, — добавил он, подумав. — Не стоит, пожалуй, бросать его одного. Может, он боится темноты.

— Ага, — сказал я.

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net](#)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)